

Д 9

Б 36

ПЕРМСКИЙ

ПЕРМСКИЙ РАССКАЗ

РАССКАЗ



ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОСЛЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Количество пред. выдач

12 / XII 304

3 / III 199

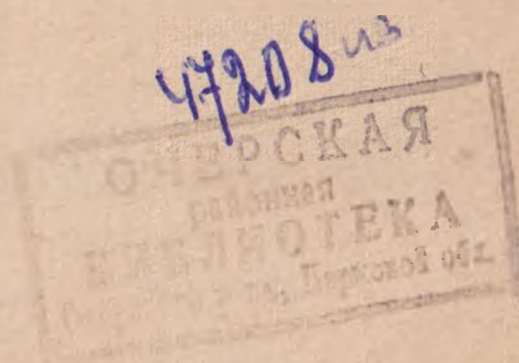


P2
1726

Пермский рассказ



ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1971



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Само название книги — «Пермский рассказ» — предопределяет включение в сборник небольших повествовательных произведений тех писателей, чье творчество связано с Пермью, с Прикамьем.

Здесь собраны рассказы авторов, которые уже давно полюбились читателям, а также произведения молодых литераторов.

В конце сороковых годов, когда Клавдия Васильевна Рождественская, много сделавшая для развития литературного движения на Западном Урале, была уже зрелой писательницей, Владимир Александрович Черненко только начинал свой творческий путь. Став художником, тонко чувствующим слово, он, в свою очередь, также оказал благотворное влияние на становление некоторых пермских литераторов.

Примерно в те же годы первые шаги в литературе делал ныне популярный детский писатель Лев Иванович Давыдычев, который наряду с произведениями для детей на протяжении всей литературной жизни работает и в жанре рассказа.

В 1949 году сборником рассказов впервые заявил о себе как о талантливом прозаике Александр Исаакович Пак. К сожалению, его способности так и не раскрылись в полной мере в связи с безвременной кончиной.

С рассказов о военных морях началось творчество писателя-баталиста Олега Константиновича Селянкина.

Здесь же, в Прикамье, в начале пятидесятых годов, проявилось яркое, самобытное дарование Виктора Петровича Астафьева, не теряющего своих творческих связей с Пермью и поныне.

В сборнике печатается рассказ известного ленинградского прозаика Николая Петровича Вагнера, опубликовавшего свои первые небольшие произведения в пермских газетах пятьдесят лет назад и не раз возвращавшегося в своем литературном труде к уральскому материалу.

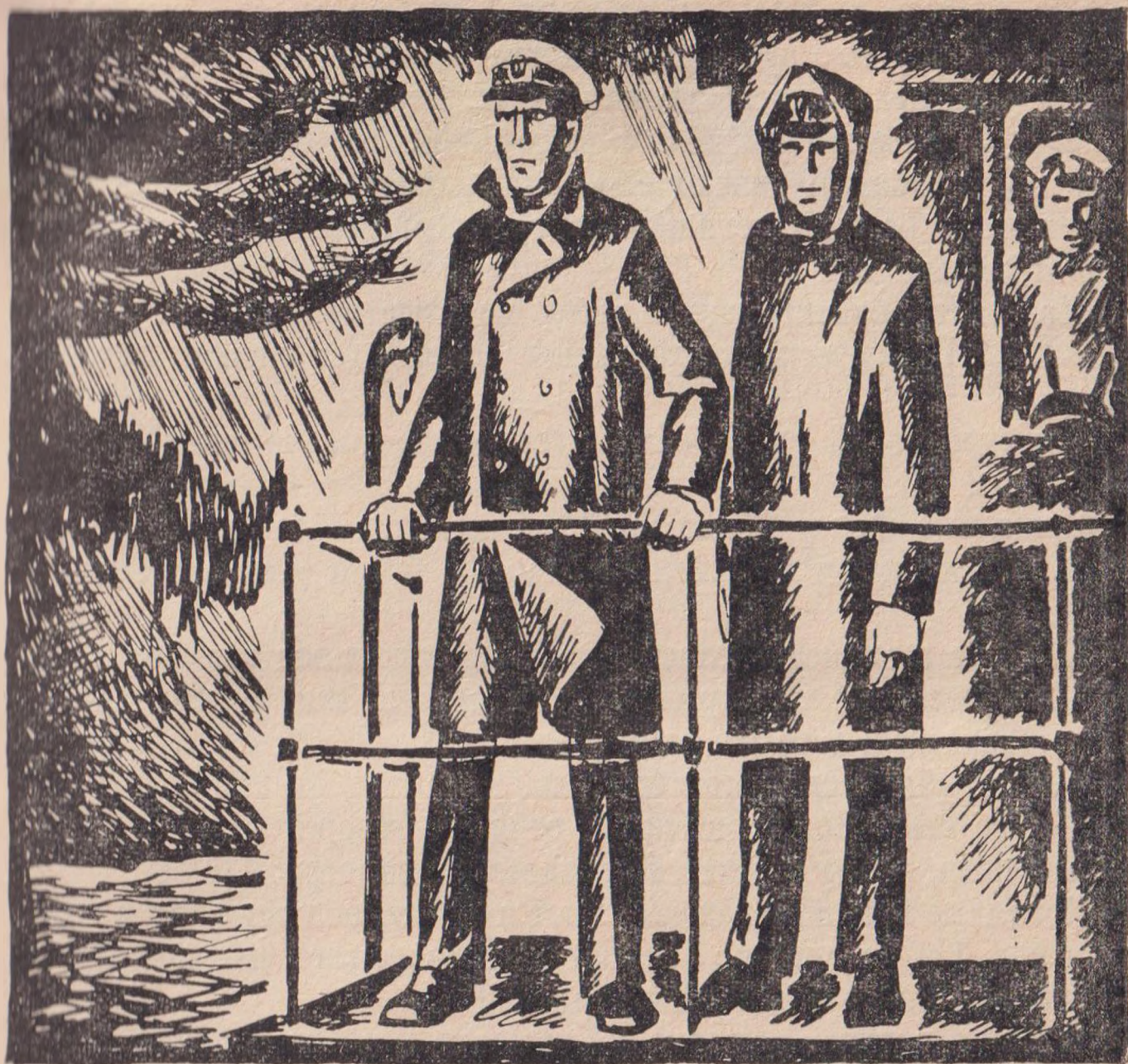
К старшему поколению авторов книги относятся также Лев Николаевич Правдин и Александр Николаевич Спешиллов, чьи сочинения знакомы широкому кругу читателей.

Молодое поколение пермских рассказчиков представлено писателями Геннадием Николаевичем Солодниковым, Алексеем Михайловичем Домниным и Иваном Михайловичем Байгуловым.

Впервые знакомит пермских читателей со своей прозой Николай Федорович Домовитов, приехавший из Донбасса.

Таким образом, дорогие читатели, на ваш стол легла книга, созданная трудом писателей, разных по возрасту, восприятию окружающего мира и творческому почерку. Роднит их всех любовь к человеку, нашему современнику, земляку-уральцу, Прикамскому краю, любовь к его земле.

Н. Н. Вагнер



Александр Пак

РАЗНЫЕ ЛЮДИ

1

Двадцать девятое сентября. На реке — самая невеселая осень. Холодно. Падает мелкий-мелкий дождик, один из тех шведливых, которые способны без передышки идти сутки, двое, трое, все промочить, все пронизать.

Видимость — никудышная. Кажется, что в воздухе стоит пыль.

Берега, деревья, прибрежный кустарник очерчены расплывчато, будто затянуты густою вуалью. Все вокруг кажется хмурым, унылым.

По реке подымается караван барж. Его ведет сильный буксировщик «Стремительный». Стальные плиты гребных колес мощно бьют воду, взбаламучивают ее и отталкивают от бортов два водяных вала с белыми пенящимися гребнями. Похоже, будто река дышит, колышется.

На мачте буксировщика горят ходовые огни. Рубка и окна освещены. Ромбическое отображение светящихся окон качается на воде.

В штурвальной рубке «Стремительного» только двое: капитан и рулевой.

Капитан — Федор Иванович Красильников — высокий молодой человек с длинным худощавым лицом и будто усеченным подбородком.

Светлые выющиеся волосы выглядывают из-под его форменной фуражки, все еще обтянутой белым чехлом. Вид у капитана сосредоточенный и в то же время мечтательный. Он стоит у переднего окна рубки и смотрит в бинокль.

— Это огни Новораменского рейда, — говорит он. — Вот проскочим рейд, а там останется семьдесят километров.

Холодные капли дождя залетают в рубку, обдают лицо и грудь капитана. Он не отходит от окна и не закрывает его, потому что стекла слезятся и нельзя ничего различить.

Изредка капитан выходит на крыльцо мостика, смотрит на караван.

Баржи идут хорошо.

Капитан отворачивается, зорко глядит на берег и приказывает рулевому:

— Держи левее, еще, еще! Не бойся! Ближе к кустам!

Наметанным глазом Красильников определяет, что здесь безопасно ходить даже у самого берега, а течение слабее, и каравану легче преодолеть сопротивление воды.

Лет десять назад он закончил речной техникум, плавал на судах третьим штурманом, вторым, затем первым и вот уж второй год командует новым речным кораблем.

— Ну, мы придем в город на рассвете, — говорит Красильников, возвращаясь в штурманскую рубку и стряхивая воду с фуражки, которая уже кажется не белой, а серой, — она взмокла и

отяжелела. — В общем, как предполагали, так и будет. Навигационный план выполним в четыре утра.

Вся команда знает, что с приходом в город навигационный план завершается и социалистические обязательства, взятые еще в мае, в начале плавания, будут выполнены досрочно.

В этом все так уверены, что на завтра назначено общее судовое собрание, и капитан подготовил доклад об итогах соревнования и о выполнении навигационного плана. Остается пройти только семьдесят километров. «Что может случиться? — думает капитан. — Ничего непредвиденного. Плес здесь прекрасный, никаких неожиданностей».

Красильников стоит у окна, не замечая холодных брызг. Думы его хорошие, радостные. В городе его ждет любимая девушка. Она тоже речник: инженер-диспетчер. Красильников знает, что когда бы судно ни прибыло в город, она, его Тоня Аксенова, придет встречать. Завтра тоже будет так.

Красильников самоуверенно, немного артистически улыбается, как может улыбаться человек, который знает, что его любят, дорожат им и не пропустят случая, чтобы повидаться.

Мысли его забегают вперед: завтра он подаст рапорт об окончании навигационного плана, а потом, когда судно встанет в затон и над зданием пароходства спустят вымпел, они смогут пожениться.

2

Обогнув мыс, караван выходит на главный участок рейда. Слева ярко сияют электрические огни. Они отражаются в низком, затянутом тучами небе. Издали кажется, что над поселком новораменских сплавщиков встает зарево.

Теперь опасно держаться берега, и капитан уводит караван к центру реки. Но когда рейд останется позади и пароход снова окажется в тиховодье, можно будет на всех парах идти к городу.

«Стремительный» идет мимо такелажного склада — массивной бревенчатой постройки на сваях. Под крышей яркая лампа; видна мокрая бревенчатая стена, а на земле у дверей мокрый четырехрогий якорь.

Вот и дебаркадер. От кормы его отделяется маленький катерок, весь белый, хорошо освещенный. Шустрый катерок дерзко

идет наперекор течению, пересекая реку. Течение сносит его, а он упрямо идет поперек, оглушая воздух шумом и пыхтением натужно работающих двигателя и винта. За кормой остается белый бурунный след.

— Куда это он? — замечает капитан, и выражение его лица делается настороженным. — Неужели к нам?

Катер немного поворачивает и уже подставляет течению не весь борт, а только кормовую часть. Похоже, что он идет к буксировщику.

У Красильникова появляется недоброе предчувствие. Он шурит глаза на катер, расстояние до которого быстро сокращается. Теперь нет сомнения: катер идет к «Стремительному». Еще через несколько минут он пришвартовывается к носу буксировщика, рулевой катера передает Красильникову приказ: поставить баржи у третьего прикола и идти к пристани за продуктами.

— Николай Иванович сказал, что ваш плот готов и команда уже на плоту.

Красильников ошеломлен и в первое мгновение не знает, что ответить. Потом, помимо воли, вырывается гневный возглас:

— Это еще что! — И, вовремя спохватившись, сдержанно отвечает: — Хорошо.

Катер уходит. Очертания его быстро тают во тьме и затягиваются сеткой дождя, видны лишь удаляющиеся огни.

Красильников, глубоко задумавшись, долго стоит у фальш-борта. Все расчеты и надежды рушатся: завтра не будут выполнены ни навигационный, ни обязательства. Капитан сжимает кулаки, будто готовясь избить виновника срыва. «Какой же дурак так распоряжается, — думает он, — ведь баржи с грузом все равно надо доставить в город». Красильников разгневан и возмущен. Между бровями ложится упрямая складка. Что ж, он поставит воз у прикола и добьется пропуска «Стремительного» до пункта назначения.

3

Поставив баржи, «Стремительный» пришвартовывается к дебаркадеру. Красильников и механик выходят на берег, где под горой виднеется бревенчатый дом с террасой и ярко освещенными окнами. Это контора Новораменской пристани.

В небольшой комнате разместились начальник пристани, его заместитель, девушка-оператор, мастер сплава.

В комнате тепло, накурено и очень светло. Пятисотсвечовая лампа низко свисает с потолка.

На подоконнике сидит мастер сплава, только недавно вернувшийся с плота, который он принимал. На нем шинель, а поверх брезентовый плащ. Он ждет капитана «Стремительного», чтобы показать недостатки плота, которые придется устранить в пути.

— Продукты взяли? — спросил начальник пристани Николай Иванович, едва Красильников показался в дверях.

— Только что пришвартовались.

— Не медлите, плот должен быть отправлен сегодня.

— Николай Иванович, здесь недоразумение, — сдерживаясь, спокойно говорит Красильников и испытующе смотрит на начальника пристани. — По рейсовому приказу, выданному в Камском Устье, мы должны доставить баржи в город. С приходом туда мы завершаем навигационный. Понимаете? — против воли сбивается Красильников на просящий тон.

Механику кажется, что Николай Иванович колеблется, и он горячо добавляет:

— Вся команда уже знает, а теперь что же?

Входят два молодых парня: кочегар Севастьянов и матрос Смирнов. Они слушают, потом робко, несмело вмешиваются.

— А может, можно, товарищ начальник? — спрашивает Севастьянов.

— У нас уже плакат заготовлен, что досрочно выполняем обязательства, — добавляет Смирнов. Его мокрый бушлат расстегнут, и на фланельке виден комсомольский значок. — Завтра думали повесить в красном уголке, Морозов всю ночь писал.

В другое время и при других обстоятельствах Красильников оборвал бы матроса, не позволил бы вмешиваться. Но сейчас — пусть знает Николай Иванович, как команда реагирует, пусть видит сам.

— Ну что вы, ребята, простите, я это сознаю, — мягко говорит Николай Иванович. — Но плот ведь надо отправить, и так простоял четыре часа. Весь фрахт в трубу вылетит.

— В баржах тоже груз, а его не надо доставить? — возражает Красильников.

— Через час или полтора верхнекамский буксировщик «Више-

ра» приведет сюда плот. Он заберет две ваших баржи, третью подчалит «Ветер», идущий за вами, и баржи отправим, и порожнего пробега не будет, — объясняет Николай Иванович. — Тут все рассчитано.

— Мы завтра вернемся и сумеем забуксировать плот, — просит Красильников. Он еще пытается решить вопрос по-хорошему.

— С ума сошли! — сердится Николай Иванович. — Еще сутки стоять плоту на приколе! Да сплавщики нас съедят.

Красильников понимает, что просьбами не проймешь. Доводы начальника его не убедили. Наоборот, он становился все более уверен, что защищает интересы общего дела, а не только команды. Глаза его становятся холодными, приобретают стальной оттенок, под скулами ходят желваки, подбородок выдается. Все лицо преобразается и, несмотря на молодость, выражает твердость и суровость.

— Идите, ребята, — обращается он к кочегарам и матросам, заполнившим комнату. Ему не хочется, чтобы они были свидетелями спора. Больше он не намерен просить — он потребует.

Когда молодые речники прикрывают за собой дверь, Красильников холодно говорит:

— Я считаю, что приказ неверен. Вы срываете выполнение обязательств...

— Это приказ диспетчера управления, — перебивает Николай Иванович, — обратитесь к нему, может, отменит.

— Какой диспетчер?

— Аксенова.

Красильников недоуменно смотрит то на Николая Ивановича, то на его заместителя, и выражение лица у него такое, как будто он хочет спросить: «Неужели правда?»

— Поговорите с ней, вон селектор.

В голове Красильникова мелькает мысль: «Наверно, Тоня спутала, вот объясню ей». Жесткие морщинки на лбу и между бровями разглаживаются, глаза теплеют, и лицо становится добрым, ласковым. Воображение его рисует любимую девушку, собственно, невесту, которая не раз приходила встречать судно, когда он возвращался из рейса, и, не стесняясь, убирала его каюту, приводила в порядок книги, посуду. Еще в июле, когда во второй декаде пароход выполнил месячный план и начальник пароходства послал по радио поздравление команде, она пришла на судно с бу-

кетом цветов и сказала: «А это от меня, Федя. Вы первые выполнили...»

Селектор занят. Красильников слушает, как Аксенова переговаривается с дальней пристанью. Пятьдесят пять дней он плавал в низовьях, не видел и не слышал Тоню. Сначала он не обращает внимания на смысл слов. Он слышит только голос, не низкий и не высокий, милый, родной голос. Потом до сознания доходит и содержание. И все то, что она говорит диспетчеру дальней пристани, кажется очень толковым и дельным. Конечно, со «Стремительным» Тоня не разобралась, допустила ошибку и исправит сейчас же, как только он разъяснит.

Мастер сплава, устало потягиваясь, встает с подоконника, лениво застегивает шинель, потом плащ и говорит капитану:

— Я пойду, Федор Иванович, вы найдете меня на плоту.

Красильников неприязненно глядит на него и ничего не отвечает. Так этот тоже уверен, что из переговоров ничего не выйдет. Мастер надевает на голову капюшон, продевает на плечо ремень кожаной планшетки и, прежде чем выйти, говорит:

— Документы, Николай Иванович, передайте товарищу Красильникову.

Уверенность мастера, нехотя идущего к двери, раздражает и еще больше подзадоривает Красильникова.

— Диспетчер Аксенова слушает, — раздается из маленького репродуктора, установленного тут же на столе.

В конторе становится тихо.

У Красильникова готов вырваться радостный возглас: «Это ты, Тоня!» Он вовремя спохватывается, с трудом сдерживается и с деланной непринужденностью произносит:

— Это вы, Антонина Михайловна?

Несколько секунд репродуктор молчит. Может быть, Тоню кто-то отвлек, и она опустила педаль. Потом доносится слегка дрожащий голос:

— Это... это... капитан... товарищ Красильников?

Красильников уже овладел собою.

— Я насчет нового приказа. Нам предлагают оставить баржи, — начинает он и спокойно рассказывает о расчетах команды. Он говорит убежденно, принимая ее молчание за сочувствие. Кончив, он ждет ответа, заранее зная, что Тоня отменит свой приказ, что у нее хватит мужества признать ошибку.

Проходит минута, другая, а селектор молчит.

— Диспетчерская, управление, товарищ Аксенова, вы слушаете? — тревожно спрашивает он.

Репродуктор заговорил. Тонин голос робок, кажется, что он дрожит. Голос сочувствующий, а слова...

— Приказ правильный. Баржи надо оставить на рейде и немедленно забуксировать плот.

Красильников смущен. Этого он никак не ждал. Неужели это она? Он хмурится, между бровями снова появляется жесткая складка.

— Что же это получается? — говорит он. — Выходит, что диспетчерская срывает нам выполнение навигационного.

— Я исхожу из интересов государства, — доносится из репродуктора. Голос Тони, а не похоже, что это она. Голос ее окреп, не дрожит, приобрел какую-то незнакомую твердость. Она даже получает: единственный критерий — это интересы всего флота, клиентуры.

— Слышал, слышал, — грубо обрывает Красильников, — почему вы другое судно не пошлете за плотом?

— Я не могу объяснять каждый свой приказ. Я за него отвечаю перед... всеми и перед начальником пароходства. Мне не хотелось прерывать ваш рейс, но обстоятельства диктуют...

— Не хотелось, а срываете, — раздраженно и гневно перебивает Красильников.

— Товарищ Красильников, вы можете обжаловать, но приказ выполнить обязаны.

Красильников совсем теряет самообладание, злится, злится и на диспетчера, и еще больше на ту, которую называл Тоней до сих пор.

— Хорошо, ваш приказ выполняю, но этого я так не оставляю.

— Поступайте, как подсказывает вам долг, а пререкаться с диспетчером неуместно. Пожалуйста, передайте селектор Николаю Ивановичу, — спокойно отвечает репродуктор.

Это недвусмысленный намек: разговор закончен, довольно болтать.

Красильников так крепко сжал губы, что они побелели. Досада, стыд, гнев — все эти чувства клокочат в нем, не находя выхода. Его отчитали, отчитали как мальчишку. И кто? Тоня. А ведь он прав.

Вдруг он вспомнил, что Тоня старше его чином. Глаза его суживаются, в них блесит злая ирония. И тоном злым и язвительным, в который вложил все свои чувства возмущения, говорит в микрофон:

— Разрешите идти, товарищ начальник?

Тонин голос опять дрожит, но только одно мгновение, пока отвечает: «Идите». Потом спокойно, по крайней мере внешне, говорит:

— Николай Иванович, почему не отправляете «Стремительного»?

Это замечание самолюбивый капитан воспринимает как пощечину. «Так вот какая ты, Тоня», — изумленно думает Красильников. Неужели это та самая кроткая девушка, которая приходила встречать его с цветами?

Он больше ни словом не вспоминает о баржах. Он посылает людей за продуктами, получает документы на проводку плота, говорит о новом рейсе, справляется о недостатках формировки.

4

Через двадцать минут, когда артельщик и матросы приносят продукты, Красильников нажимает рычаг, посылая пристани неприветливые, угрюмые гудки — три гудка. Буксировщик разворачивается и уходит в морозящую мглу.

Но Красильников не подавлен и вовсе не обескуражен, хотя горький осадок от селекторного разговора крепко засел в груди и в ушах еще звенит голос Тони, спокойный до равнодушия: «Почему не отправляете «Стремительного»?

Капитан ощущает в себе какую-то гневную, неистовую энергию. Все его распоряжения четки, тверды, лаконичны.

Едва судно отваливает от дебаркадера, как он вызывает к себе радиста:

— Свяжитесь со службой пути, — приказывает он, — узнайте, сколько воды в Свешинской воложке, какова ширина хода, сколько воды за красными бакенами, потребуйте путевый бюллетень. Пришлите первого штурмана.

В каюту входит пожилой человек.

— Вы меня звали?

— Да. Садитесь. — И без предисловий начинает излагать: —

Сухогрузный рейс не получился. Потеряна ли возможность выполнить навигационный план в этом месяце? Я думаю, что нет. Придется идти на разумный, обоснованный риск. Надо использовать настроение команды. Что вы скажете, если мы возьмемся пройти воложку без расчалки?

— Без расчалки! — удивляется штурман. — Так никто же сейчас не ходит без расчалки.

— А мы пойдем. Надо только рассчитать. Получим сведения, рассчитаем точно. А пока готовьте буксиры, проверьте носовой шпиленок. Поговорим еще об этом. Вызвать на работу всех.

Когда штурман вышел, Красильников сжал кулак и, будто угрожая кому-то, взглянул в окно, откуда виднелась река.

— Ну, посмотрим, Антонина Михайловна, — проговорил он вслух. Из широкого, во всю стену, окна каюты виднелась ночная река. По одну сторону — белые бакены, по другую — красные. На берегу, среди елей, виднеются створные огни. На реке снуют катера сплавщиков, выбрасывая из труб клубы дыма.

В каюту стучатся, входит матрос Смирнов. Он предсудкома и пришел договориться с капитаном.

— Так, Федор Иванович, значит, теперь надо отменить завтрашнее собрание?

— Нет, — улыбается Красильников, — не отменить, а отложить. Назначили на десять утра, перенесите на семь вечера.

— А как же, разве мы не к плоту?

— К плоту. Все равно отменять не надо.

«Стремительный» внезапно замедляет ход, шум колес слабеет, капитан смотрит в окно и говорит:

— Вот и наш караван, потом побеседуем.

Из окна виден огромный плот. На головках домики-казенки, силуэт очага, похожий на колодец, фигуры людей. Окна в казенках освещены. На мачтах уже горят фонари. Капитан надевает брезентовый плащ, гасит настольную лампу и выходит на палубу.

Как только буксировщик осторожно прижимается к хвостам и якорь опускается на дно, Красильников приказывает зажечь прожектор. Сильный голубой луч прорезает мглу и, словно голубая широкая тропа, ложится вдоль плота, освещая бревна от хвоста до головок. В голубом свете ясно очерчены прыгающие по бревнам люди.

С парохода спускают трап, и тотчас же матросы выносят сталь-

ные буксиры. В хвосте плота, до сих пор пустынным, сразу делается оживленно, становится многолюдно: начинается заделка буксиров.

Капитана уже ждут мастер, бригадир и начальник участка. Они стоят на бревнах в плащах и с короткими баграми. Когда Красильников ловким молодым шагом спускается с борта, мастер предлагает ему багор, короткий, как трость. Вонзив острие багра в бревно, хорошо опираться на него.

— Зачем? — спрашивает капитан.

— А не поскользнетесь?

Красильников машет рукой и отказывается. От дождя намокла кора, и ходить, действительно, трудно, скользко. Но Красильников ловок и в нужную минуту нащупывает ногами шершавую точку и прочно встает на бревно. Ему предстоит обойти весь плот, осмотреть ромжины, бортовую ошлаговку, пучки, якоря, лоты, дректы.

Вокруг пыхтят катера. Одни прижимаются к борту, готовясь толкать плот, как только он станет выходить на буксир, другие подводят последний такелаж.

Караван уже принят мастером, но Красильников ни на кого не полагается, особенно сейчас, в связи с задуманным. Во время заправки в воложку без расчалки придется много и искусно работать с тормозным железом.

5

За семьдесят два километра от «Стремительного», вверх по реке, в белом здании с колоннами, над крышей которого установлен флагшток и реет сине-красный вымпел, сидит Аксенова и говорит по телефону с портовым диспетчером. Она просит через двадцать минут выслать рейдовый буксир «Лещ» для сопровождения под мост проходящего плотокаравана.

Потом она нажимает педаль селектора и спрашивает линейного диспетчера пристани, расположенной далеко-далеко отсюда, на семьдесят километров ниже, когда прошел «Уральский рабочий». Перед ней во всю длину стола приколотый кнопками график. Аксенова протягивает карандашом линию, отмечает время прохождения воза, затем опять разговаривает по селектору или вызывает по радио то или иное судно, дает распоряжения, отвечает

на вызовы, телефонные звонки, — словом, командует флотом. Но вот выпадают минуты, когда в диспетчерской становится тихо, никто не звонит, не спрашивает, не жалуется на отсутствие топлива или буксирных тросов, никто не докладывает. И Аксеновой невольно вспоминается разговор с Красильниковым. Сначала в ушах звучит: «Это вы, Антонина Михайловна?» Она понимает, что Федя обрадовался, узнав ее голос, потом спохватился и продолжал сухо. Но разве можно обмануть ухо любящей женщины?!

Она слушает первую фразу и чувствует, что у нее сердце сильнее бьется. В комнате никого нет, но она почему-то краснеет и глядит на дверь. И такое длится минуту или две, потом она уже во власти разума и долга и совершенно спокойно отвечает и приказывает, будто чужому. Когда она вспоминает его последние слова, сердце у нее начинает ныть. Она понимает, что Федя нарочно не обратился к ней ни по фамилии, ни по имени-отчеству, что его «товарищ начальник» прозвучало насмешливо, зло и ужасно холодно.

Она хорошо знает Федю. Он не захочет понять, что иначе она не могла, потому что выполняла долг и действовала в интересах государства. Он будет видеть только свою неудачу, в которой обвинит ее.

Звонит телефон, Аксенова вздрагивает, гонит прочь неуместные мысли и изо всех сил старается внимательно слушать. Помимо воли, приходят грубые, гневные слова: «Слышал, слышал». Сердце у нее безотчетно щемит.

— Что? Что? — переспрашивает она и ловит себя на том, что слушает рассеянно. Она предельно напрягает внимание, и ей удается сосредоточиться, успокоиться и не вспоминать Федю.

На графике Аксенова читает красные, синие, черные линии; они ей раскрывают все, что делается на большой реке: движение барж, потокараванов, легких, тяжелых возов, грузовых теплоходов, буксировщиков, плавучих бункеровочных станций. Она видит, что движется вниз, вверх, что стоит, что отстают, кто опережает расписание...

Уже пятый час утра. Аксенова задумчиво глядит в окно и не видит ни мокрой пустынной мостовой, ни расплывчатого света висящего фонаря, отражающегося на асфальте. Мыслями она далеко отсюда. Помимо желания, в ушах опять звучит голос Феди, насмешливый, чужой. «Разрешите идти?» — с какой уничтожающей

пронией это было сказано. Воображение рисует ей его лицо, две морщинки, придающие выражение суровости, даже жестокости. А голубые глаза кажутся выцветшими, холодными.

Она уже встречалась с таким его выражением. К счастью, это относилось не к ней, а к матросу, в чем-то провинившемуся. Он его отчитал холодно и безжалостно и предупредил: еще одно малейшее проявление лени — и матрос будет списан. Тогда еще она подумала о его непреклонной воле. Он может быть безжалостным. Спустя десять дней она встретила матроса в отделе кадров. Федя списал-таки его с судна.

Стены диспетчерской задрапированы темно-бордовым сукном, изолирующим комнату от проникновения посторонних звуков. В работе наступает затишье. Бывает так, когда вдруг все замолчит, ни звука, ни шороха, и слышно лишь, как шуршит карандаш. На графике начата новая линия, линия движения потокаравана «Стремительного». Феде удалось совершить операцию забуксировки за два с половиной часа и досрочно выйти в рейс с плотом. Конечно, это не даст им возможность в оставшиеся сутки завершить навигационный. Нет слов, если бы они прошли с баржами до города, как планировалось вначале, то они бы выполнили навигационный план тридцатого сентября, а теперь выполнят не раньше второго октября.

Могла ли она поступить иначе? Аксенова снова считает. Сколько и как бы придирчиво она ни проверяла себя, а получается, что распорядилась правильно.

Впрочем, может быть, они совсем разные люди. Когда «Стремительный» вышел в рейс с плотом, она вызвала Красильникова по радио, чтобы узнать, что нужно судну для успешного плавания. Он не явился в радиорубку, а послал вместо себя первого штурмана и велел передать, что находится на мостике и не может отлучиться. Формально как будто ничего особенного, но из опыта Аксенова знала, что ни один капитан не пропустит случая поговорить с диспетчером и рассказать о своих нуждах.

Штурман, вероятно соответствующим образом настроенный, сказал коротко: «Ничего не нужно. Спасибо».

Нет, Федя не поймет. И вдруг у нее мелькнула мысль: «Теперь уж не нужно трюмо». О трюмо они говорили еще ранней весной, до открытия навигации, когда ходили с Федей в театр. Он сказал, что выхлопочет квартиру в городе в строящемся доме, отдельную,

47208

ОЧЕРКАЯ
РАБОТА
БИБЛИОТЕКА
Очерков р-на, Пермской обл.

из двух комнат. Когда она усомнилась, дадут ли, он так уверенно засмеялся, что и у нее появилась уверенность. Она взяла его под руку и, проходя мимо зеркала, скорее в шутку, чем серьезно, сказала: «И трюмо купим, в прихожую поставим». «Купим, обязательно», — серьезно ответил он...

У Аксеновой появилось предчувствие: это разрыв. И тотчас же сухой, будто чужой голос, голос рассудка, иронически шепчет: поссорились по радио. Она горько усмехнулась, а тот же чужой голос услужливо напоминает: и познакомились по радио.

6

Да, знакомство тоже произошло по радио.

Это было в прошлом году, в октябре. Морозы ударили внезапно. «Сало» плыло по реке и на глазах превращалось в лед. Под баржи начала набиваться шуга. Все суда, буксирные и пассажирские, заторопились в затоны. «Стремительный» пришел в порт двадцать четвертого октября.

Аксенова хорошо помнит: было морозное утро, градусов двадцать ниже нуля. Уборщица тетя Клава первый раз затопила печь, облицованную кафелем, и сказала: «Вам будет тепло дежурить, Антонина Михайловна». Прошло не больше часа с начала ее дежурства, вдруг ее вызывает по радио капитан «Стремительного», да так настойчиво, что приходится прерывать разговор по селектору.

— С кем я говорю, — доносится из приемника, — с дежурным диспетчером Аксеновой? Так вот, товарищ Аксенова, докладываю: прибыл в порт, судно в полном порядке, ждем назначения в рейс.

— Мне это известно, ждите, я вас вызову... — отвечает она и хочет назвать фамилию капитана, но не помнит. Она никогда не видела этого судоводителя, знала только, что он второй год плавает капитаном и что он один из первых стал водить баржи по новому, прогрессивному методу. Главный диспетчер говорил о нем как о способном судоводителе.

— Сколько ждать? Мне нужно в рейс, дайте воз, — настаивает капитан.

Аксенова хмурится. По сути, ей в первый раз приходится сталкиваться с этим капитаном. Что-то дерзкое и нахальное слышится ей в его голосе, в его настойчивом требовании...

— Капитан «Стремительного», слышите меня? — спрашивает Аксенова, глядя на шелковый экран приемника, откуда сначала раздаются свист, хрипы, потом голос капитана.

— Моя фамилия Красильников. Диспетчеру следовало бы это знать. Слышу вас хорошо, жду ответа.

Насчет фамилии замечание справедливое. Аксенова сознает это и слегка рдеет от неловкости. Но это длится только одно мгновение, затем она четко выговаривает каждое слово:

— О вашем судне вопрос решается. Возможно, пойдете в за-тон. Воза для вас нет. Ждите окончательного решения. Решает руководство, С вами все.

— Нет, не все, товарищ Аксенова. Передайте: команда готова плавать в любых условиях. Мы выполнили навигационный план на сто четыре и две десятых, а по социалистическим обязательствам обещали на сто пять. Остается чепуха: сделать всего четыреста тысяч тонно-километров.

Вся эта речь, изредка прерываемая помехами в эфире, тронула Аксенову. Она почувствовала, что капитан Красильников (теперь она уже не забудет его фамилию), который сначала показался нахальным, на самом деле, должно быть, очень переживает из-за того, что ему не удалось выполнить обязательство.

— Хорошо, я доложу главному диспетчеру.

Из окна диспетчерской ей видно было, как в порту по причальной стенке ходили люди в шубах, а у самого берега уже белела кромка льда. А порт, где стоял «Стремительный», гораздо южнее и северней, и там, вероятно, больше льда и холоднее. И все-таки капитан отважился идти.

Ей захотелось представить себе лицо Красильникова, но она не смогла и лишь подумала, что он настойчивый и смелый человек.

В диспетчерскую зашел начальник пароходства. Аксенова вспомнила просьбу Красильникова. И ему поручают повести баржу, а Аксеновой приказывают бдительно следить за рейсом.

Через сорок минут она отправляет в рейс «Стремительного».

— Счастливого плавания, товарищ Красильников, чуть что — немедленно вызывайте. Таков приказ начальника.

— Спасибо, Антонина Михайловна, — коротко отвечает Красильников. «Откуда он знает имя?» — удивляется Аксенова.

Главный диспетчер говорит, что это первый ледовый рейс капи-

тана Красильникова. Она представляет себе, как проходит плавание: «Стремительный» ведет баржу на коротком буксире, под защитой кормы. Стальной корпус судна разламывает лед, а стальные плиты колес довершают дело: крошат лед на мелкие кусочки. Следовательно, деревянная баржа идет в полосе чистой воды и ей не угрожают порезы.

Аксенову так захватывает этот рейс, что, кончив свое дежурство, она оставляет диспетчерскую только на полчаса, чтобы пообедать, и возвращается снова. Она радуется, когда капитан Красильников благополучно доставляет баржу, возвращается назад, захватив в пути две порожние баржи, которым прочили зимовку в плесе, и приводит их в затон.

Когда начальник пароходства предлагает ей сообщить команде текст приказа по бассейну, она с удовольствием и даже непонятным волнением вызывает Красильникова и читает текст радиogramмы. Начальник поздравляет команду с успешным завершением смелого ледового рейса, в котором речники показали высокую преданность делу и большое судоводительское искусство. Доставленный леспромхозу груз позволит лесникам дать больше леса стране. Аксенова знает, что капитан около трех суток непрерывно провел на мостике и смертельно устал. Закончив чтение, она говорит:

— Примите и от меня поздравление. — И тотчас краснеет, хотя Красильников не может видеть ее лица и не может догадаться, что в эти слова она вкладывает не только дань уважения отваге и искусству команды, но и первые блески личной симпатии к мужественному человеку.

Так завязалось это знакомство...

Утром она сдает смену, подробно и отчетливо объясняет дислокацию флота, сообщает, что все возы за время ее дежурства отправлены по расписанию, обращает внимание сменщика на отстающие в пути караваны.

Когда она уже была в пальто и берете, в комнату вошел главный диспетчер Яков Иванович Чуднов, пожилой человек с умным лицом и длинными выцветшими усами. В руках у него папка и телеграмма. Чуднов молча пересекает комнату, останавливается против дежурного.

— Покажите дислокацию, — говорит он, обращаясь почему-то не к дежурному, а к ней. Аксенова объясняет график.

— Почему отняли воз у «Стремительного»?

— Это продиктовано целесообразностью. Вот мои расчеты. — Аксенова торопливо открывает ящик и роется в бумагах. Руки у нее чуть-чуть дрожат, и только это выдает ее волнение. Затем она подает лист бумаги, испещренный цифрами, прямо глядит в лицо главному диспетчеру и добавляет:

— На этой комбинации государству сэкономлены тысячи рублей. Я проверяла и рублем: фрахт, содержание судна, плотовой команды, простой грузов и прочее.

Чуднов пробегает записи и расчеты. Он понимает, что молодой инженер по-государственному подошел к делу и рассчитал то, что обычно упускали: не только оперативную целесообразность, но и экономическую. Он перечитывает, задумчиво пощипывает ус, потом внимательно смотрит на бледное, немного усталое от ночной работы лицо Аксеновой и говорит:

— А на вас жалоба, и серьезная. Вы будто сорвали команде выполнение обязательств. — Он говорит и внимательно смотрит, точно хочет ее испытать. Аксенова выдерживает взгляд, спокойно и с внутренней уверенностью в своей правоте отвечает:

— Да, они могли бы выполнить навигационный сегодня, а теперь выполняют второго октября. В обязательствах у них записано: выполнить к 15 октября. Значит, обязательства не сорваны. А, главное, потребитель вовремя получит древесину, не будет ни порожнего пробега, ни простоя грузов. В моей записке все это есть.

— Прочтите радиogramму Красильникова.

Она читает, и сердце у нее стынет от обиды и горя. Чего только не написал Красильников: «формальное отношение», «искусственные препятствия», «срывает инициативу». Правда, ни разу он не упоминает ее имя и всюду пишет «диспетчерская», но от этого не легче. Радиogramма адресована начальнику пароходства.

— Хорошо, могу ответить и объяснить, — спокойно, с достоинством говорит Аксенова, и ее большие серые глаза темнеют, кажутся глубокими. — Сейчас?

— Нет, лучше подождите начальника пароходства.

В десятом часу ее вызывают к начальнику. Там сидит Чуднов. Он пощипывает свой ус, и глаза его усмеваются. За время работы

в управлении она изучила его и понимает, что обозначает это выражение. Начальник приглашает сесть. Перед ним радиограмма Красильникова.

— Я проверял, — говорит начальник пароходства, — вы совершенно правильно решили вопрос. Другое решение, судя по дислокации, было бы неверным. Красильникову я сам отвечу. Вы уже сдали дежурство?

— Сдала.

Начальник пароходства с минуту молча смотрит на Аксенову, будто изучает.

— Товарищ Аксенова, — говорит, наконец, он, — мы хотим предложить вам пост старшего диспетчера по нижней Каме. У нас там практик, а нам нужен инженер. Замойский примет пристань, он согласен. Как вы смотрите на это? Вам помогут.

Аксенова смущена и даже растеряна. Она ожидала все что угодно, только не этого.

— Не знаю, справлюсь ли?

— Не торопитесь с ответом, — говорит Яков Иванович, — подумайте.

Все то, что произошло в течение нескольких минут в кабинете начальника: признание ее правоты, неизбежное обострение отношений с Федей, столь лестное и неожиданное предложение, — повергает ее в смятение.

В приемной она торопливо натягивает пальто. Рука никак не попадает в рукав — это от волнения.

На память приходят слова начальника: «Я сам отвечу». И только теперь она понимает, что это приведет к неизбежному, ничем неотвратимому разрыву. Гордый, самолюбивый Федя не забудет этой ночи, ее приказа, ответа начальника. Его предложение не трогает, хотя в другое время и при других обстоятельствах оно бы наполнило душу радостью, заставило бы думать, и уж, конечно, она бы поторопилась сообщить Феде. А теперь? Да ведь это предложение, быть может, и возникло потому, что она остановила воз и отправила буксировщик с плотом вопреки первоначальному плану, просьбам и надеждам Феде и его команды. Следовательно, получается, что на Фединой неудаче, внешне вызванной ею, строится ее повышение.

Девушка чувствует, что щеки ее горят от волнения, и даже холодный дождь, увлажнивший лицо, не остужает.

К девяти вечера Аксенова снова в диспетчерской. Внимательным и сосредоточенным взглядом она изучает график, новые линии, появившиеся в ее отсутствие, знакомится с дислокацией флота на текущий час, просит пояснений у сменщика, пожилого диспетчера из бывших штурманов.

В графике она ищет отображение движения Федино́го каравана. Что-то слишком длинная линия. Неужели прошел воложку и уже на траверзе пристани Воробьевка? Не может быть, какая-то ошибка. Почему-то ей неловко спросить. Она берет карандаш и подсчитывает. Так и есть: ошибка. Плотокараван «Стремительного» должен быть лишь на подходе к воложке.

— Почему вы протянули сюда эту линию? — Аксенова чувствует, как краснеет. Она избегает называть даже имя парохода.

Дежурный диспетчер с полотенцем через плечо, уже собираясь умываться, задерживается у стола, глядит поверх ее плеча на график, потом говорит:

— А, это! Так Красильников ведь прошел воложку без расчалки. Сэкономил восемнадцать часов. Вот и нагнал.

У Аксеновой сильнее стучит сердце и сверкают от радости глаза. Она прячет их от сменщика. Значит, никакой ошибки, все верно. Благодаря смелому, новаторскому приему Фе́ди сделано дополнительно почти четыре с половиной миллиона тонно-километров!

«И навигационный выполнили!» — хочется ей воскликнуть, но она сдерживается и говорит почти равнодушным тоном:

— Так они и навигационный выполнили?

— Не знаю, не подсчитывал, — отвечает диспетчер и, показывая рукой на график, добавляет: — Здесь все точно. Я пойду.

Аксенова остается одна. Трехсотсвечовая лампа под потолком хорошо освещает аппаратуру, стол с наклонной столешницей, график, испещренный цветными линиями, цифрами, стрелками. Ей хочется подсчитать, насколько выполнили навигационный план, но на селектора раздается густой бас, ее вызывает пристань.

Немного спустя входит Яков Иванович Чуднов. Аксенова знает, что главный диспетчер сегодня пробудет до утра. Начальник пароходства в последние три дня почти не оставляет управления. Он, как и Чуднов, уйдет домой только утром первого октября.

Когда Аксенова заканчивает разговор по телефону, Яков Иванович, посмотрев на график и что-то записав в тетрадь, будто между прочим говорит:

— А экипаж «Стремительного» все же выполнил навигационный план на сто и восемь десятых. Упорный же этот Красильников. Обязательно занесите на доску. И непременно пометьте сегодняшним числом.

На стене, за спиной Аксеновой, висит доска, на которой записаны названия судов, выполнивших навигационный план. Аксенова мельком бросает взгляд на доску, где уже красуются имена девяти буксировщиков. В этом почетном списке «Стремительный» будет десятым.

— А я, грешным делом, подумал, что они не управятся раньше второго, — улыбается Чуднов, и его улыбка выражает похвалу. — Хоть и любит поскандалить да побузить, а все же молодец Красильников, несомненно талантливый судоводитель! Притом творческий!

— Отметить тридцатым числом? — переспрашивает Аксенова.

— Конечно.

— Тогда, может быть, подождем до двенадцати ночи? Выполнение будет больше.

— Резонно, — задумчиво пощипывая ус, говорит Чуднов, — только не забудьте.

— О, не забуду!

Чуднов не обращает внимания на тон, которым произнесены эти слова, а девушка, поняв, что выдала свои чувства, смущенно отворачивается.

Когда главный диспетчер уходит, Аксенова нажимает педаль селектора, вызывает дальнюю пристань и говорит линейному диспетчеру:

— В пределах двадцати трех — двадцати трех тридцати должен проследовать потокарван, ведомый пароходом «Стремительный». Судно надо снабдить углем. Бункеровка на ходу. Приготовьте также плавмагазин. Лично проверьте, есть ли достаточно продуктов. Команду надо обеспечить всем необходимым. Вы должны встретить караван, поговорить с капитаном, узнать, что нужно. Никаких задержек в пути.

Помедлив, Аксенова добавляет: учтите, ведут тяжелый воз. Доложите исполнение...

Местное время на два часа впереди московского. Диспетчерская, весь транспорт работают по московскому.

На стенных часах с медным маятиком — четыре часа. Это — местное время. На столе диспетчера — квадратные, морского типа, дубовые часы с циферблатом, разделенным на двадцать четыре деления. Синяя короткая стрелка лежит на цифре два. Это — московское время, по которому ориентируются.

После двадцати четырех часов напряжение в работе сразу падает. Все, что можно было выпустить, ушло в плавание до двенадцати часов ночи, до часа, которым заканчиваются сутки и месяц.

С разных пунктов реки Аксенова уже отправила одиннадцать возов, и все — в расписание. Теперь до утра не будет ни одного воза.

На доске уже красуется имя «Стремительного» и еще одного судна. Она оказалась права: к двенадцати часам ночи навигационный план «Стремительный» выполнил больше, чем на сто один процент.

В четвертом часу в диспетчерскую заходят начальник и Яков Иванович. Оба устали, но довольны: все сентябрьские грузы отправлены. В целом, по оперативному плану, пароходство выполнило месячный план. После напряжения оба начальника немного расслаблены. Спокойствие, усталость и удовлетворенность чувствуются во всех их движениях, в мирной, неторопливой речи, в шутках.

Аксенова знает, что оба еще долго не уйдут домой, пока плоты, идущие с четырехчасовым интервалом, не проскочат затруднительные перекаты и воложки. Но сейчас им не о чем беспокоиться. Все движется нормально, без помех.

Аксенова встает и уступает место начальнику. Так требует этикет.

— Ничего, ничего, продолжайте. — Видимо, у него нет никаких замечаний, так как он не вмешивается и ничего не спрашивает. Оба начальника уже говорят о будущем месяце, о клиентах, о грузах.

Аксенова делает свое дело, не смущаясь их присутствия, тем более, что они не отвлекают. Начальник пароходства и главный

диспетчер заговаривают о другом. Аксенова настораживается, услышав имя Феди.

— Красильников не нашел другого времени подать рапорт. Спешно по радио, — смеется начальник. — Видно, прослышал, что строители сдают нам дом.

— Что, квартиру требует? — спрашивает Чуднов и добродушно улыбается.

— Именно требует, и отдельную, в две комнаты, — с улыбкой отвечает начальник. — Но он ведь холост, зачем ему две комнаты?

— Стало быть, жениться собирается.

Аксенова вся вспыхивает и низко-низко склоняется над графиком. Ни начальник, ни Чуднов не замечают этого и продолжают в легком, полушутливом тоне:

— Теперь вспоминаю, — усмехается начальник пароходства, — что-то вроде он писал мне в заявлении месяца три назад. Придется дать.

Тон и тема разговора показывают Аксеновой, что оба начальника сейчас отдыхают. Она не смеет поднять глаза.

— Товарищ Аксенова, — вдруг обращается начальник пароходства, и глаза у него смеются, — а знаете, что Красильников ответил на мою радиограмму? Он продолжает настаивать на своем: дескать, диспетчерская неправа, но он, мол, настолько великодушен, что не требует наказания виновных. Он так и написал: «виновных». Ну и самоуверенный же малый. Каков, а? Но и новатор он настоящий.

Аксенова ничего не отвечает и не отрывает глаз от графика, хотя в эту минуту плохо различает линии.

Посидев еще немного, оба уходят. Они еще не раз войдут сюда: посмотреть график, поговорить с судами.

9

Тонко и чисто тикают стенные часы. Аксенова на мгновение прикрывает веки. Федя, следовательно, упорно считает ее виновной и великодушно прощает. Получается, что он даже ходатайствует за нее. Нет, нет, не нужно ни жалости, ни прощения, ни заступничества. Она поступила правильно и разумно и не желает снисхождения, которое только оскорбляет.

Вдруг мелькает мысль чисто женская: «Зачем же квартира? Может быть, другая?» От этой мысли по телу пробегает озноб. Она горько пожимает узенькими девичьими плечиками, сердится на себя за то, что позволяет отвлекаться посторонними мыслями, и включает селектор.

Наступает новый день. За окном серое утро. Дождь еще не перестал, небо низкое, мостовая и тротуар влажны.

На морских часах — шесть, на стенных — восемь. Через час придет ее смена. Все подготовлено для сдачи дежурства.

Кто-то стучится в дверь. Вероятно, это чужой. Она открывает. Перед ней пожилая женщина в коротком бушлате и с кожаной сумкой. На рукаве нашивка: красная молния. Это — почтальон.

— Вы Аксенова?

— Да.

— Вам срочная телеграмма.

— Мне?! — Аксенова так удивлена, что не находит слов и не догадывается спросить, откуда. Ни родные, ни знакомые никогда не писали на адрес пароходства да и не знают его. Что может быть? Ее охватывает тревога. Пока она расписывается, в голове проходит целый рой предположений и догадок.

Когда почтальон уходит, Аксенова тут же, в дверях, распечатывает и читает:

— «Саратове куплю трюмо тчк Сможет ли находиться тебя пока получим квартиру тчк Федя».

Аксенова еще раз перечитывает телеграмму и чувствует, как из глаз бегут слезы.

Успокоившись, она читает в третий раз, и теперь до сознания доходит, что телеграмма послана, как обычно, по телеграфу Министерства связи. Почему же он не использовал речной телеграф, селектор, телефон, радио? Ему достаточно было пересечь палубу, зайти в свою радиорубку и вызвать ее. «Он стеснялся, — не хочет путать личное со служебным», — удовлетворенно думает она и счастливо улыбается. «Он поймет меня», — стучится в голове ликующая мысль.

Она возвращается к столу.

Дождь все еще идет. На стекло падает капля. Несколько мгновений она неподвижна, потом медленно сползает вниз. И Аксеновой уже не кажется, что это слеза.

Сдав дежурство, Аксенова просит секретаря доложить о ней

начальнику пароходства. Ее тотчас же принимают. Начальник сидит уже в шинели и фуражке, видимо собираясь уходить. Лицо его посерело от усталости, под глазами мешки. «Наверно, у него сердце больное», — с жалостью думает Аксенова.

— Я принимаю предложение, — говорит она, — согласна занять пост старшего диспетчера.

— Ну вот, это правильно. Мы быстро оформим. Чтобы не забыть: в прошлом году вы просили отдельную комнату. Ваше заявление сохранилось в кадрах. Так вот, смогу вам выделить в новом доме. К октябрьским праздникам переедете.

— Спасибо, я отказываюсь от комнаты.

— Что так? — восклицает начальник. Он изумлен и не понимает, как это можно отказаться от отдельной комнаты в новом доме. — Там все удобства будут.

Аксенова краснеет. Помедлив, она смущенно смотрит на начальника и отвечает:

— Я выхожу замуж...



Владимир Черненко

СПАСИБО, ДРУГ!

С

пать нельзя... спать нельзя...

На моем плече — тяжелая рука. Она трясет.

Настойчиво, больно и тупо. В ушах тарахтит. Расклеиваю глаза. Калинин. Его полосатый шарф. Желтое и красное. Его тяжелая, будто чугунная, рука лежит на моем плече. Это он трясет. Это он повторяет надоедливо:

— ...спать нельзя...

Как будто я сам не знаю.

Тарахтенье становится слышней, настойчивей, властней. Это тарахтит трактор.

Злым голосом я говорю:

— В чем дело?

Я ему не подчинен. Ко мне не лезь. И он это знает. Да. Я дергаю плечом. Рука не сбрасывается.

Обидным голосом он кричит:

— Мужик ты?

— Черт возьми, еще бы!

Трактор стрекочет совсем громко. Сани колышутся. В сани заносит снежную пыль из-под гусениц. Пыль оседает на лице. Она тает. Пыль тает противно. Ее хочется стереть. Поднимаю руку, снег не стирается — размазывается. Противно. Плечи мои передергиваются. Сняв рукавицы, обеими ладонями протираю лицо. Еще, еще сильнее. Протираю щеки, глаза.

Теперь я хорошо вижу Калинкина. Во весь его длинный рост. Поднявшись с корточек, он резкими движениями длинных рук разминает костлявые плечи. Он хлопает руками по бедрам, что-то говорит. На его сухощавом лице тоже снежная пыль. Хрящеватый нос покраснел, лоснится, на кончике висит талая капелька. Он нагибается ко мне:

— Отошел?

Теперь я совсем проснулся.

Опираясь руками о подрагивающий пол саней, медленно, будто по частям, распрямляюсь и поднимаюсь. Ноги словно ватные. И в голове словно вата. Все не мое — не понимает, не слушается.

— Застынешь! — кричит Калинкин.

Я опрызаюсь — больше для порядка:

— С чего это ты раскричался?

Он хохочет, совсем не обиженный:

— Трупиком стать охота?

Вот теперь я совсем проснулся. Теперь я стою на ногах. Рядом с Калинкиным. Под ногами вздрагивает и ходит ходуном дощатый пол. Мы стоим рядом, и когда сани ухают в ложбину, мы придерживаем друг друга за плечи. То я Калинкина, то он меня. И так мы стоим. И смотрим.

Продремал я немного, но за это время заметно стемнело. Лапшин включил фары, и на снег легла яркая желтая полоса.

Я кричу Калинин:

— А ты бы тогда выстрелил?

Он оборачивается ко мне своим худощавым лицом. Видно, вспомнил. Толстой варежкой он делает возле головы несколько замысловатых движений, полных иронии, и назидательно кричит:

— В человека стрелять не рекомендуется!

— А все-таки? — не сдаюсь я.

Он что-то хочет сказать, но сани ныряют, и Калинин забывает ответить.

Голубой меч выхватывает из синей мглы белые елки и сосны. Это таежная просека, сделанная руками человека. Но нам кажется, что ее властно просек наш световой меч, прорубил одним взмахом и разукрасил по-праздничному. Деревья протянули над нами свои тяжелые сучья. Мимо грохочущего трактора они проплывают бесшумно. В голубом луче они протягивают, словно живые, свои мохнатые лапы. Лапы облеплены снегом. Когда просека суживается перед нами, и ветви совсем близко, и рокот трактора оттого кажется громче — с мохнатых лап срываются и бесшумно опадают плавань снежные комья. В дрожащем живом свете фар комья снега кажутся живыми. Они переливаются голубым, розовым, желтым, ослепительно белым, они будто изнутри светятся, пронизанные электрическим лучом.

Калинкин хлопает меня по плечу:

— Красотища?

Я кричу в ответ:

— А ты как думал?

Мне кажется, что его полосатый шарф сейчас начнет развеваться по ветру. Но ветра нет. Это так кажется — от движения.

Трактор надсадно урчит и взбирается на подъем. Впереди словно порота распахиваются: это расступились деревья, и перед нашей машиной возникает черная бездна. Тем ярче и красочней светятся и переливаются по сторонам сосны и ели.

Трактор задирается все выше и выше, и вот он нацеливается своим тупым рылом в беспредельность. Как перед прыжком. Шмыгнули за нас, за наши спины последние елки, впереди только пустота. Фары бросают свет, который нигде и ни на что не ложится. Только тьма крошечная впереди. Но вот какой-то шаг, машина переваливается — и снова светло по сторонам, и блеск, и сверкающие снега, и толстые сахарные лапы...

Мы переводим дух. Хочется закурить.

— А если бы не двустволка в твоих руках, тогда что? — спрашиваю я Калинин.

Мы молча закуриваем.

Сани скрипят. Они срублены из толстых бревен, и низ их обшит полосовым железом. Громадные кованые железные скобы скрепляют все деревянные части. Борта саней сбиты из толстых дюймовых досок. Высокие, до пояса, приспособленные для перевозки продуктов и оборудования. И все это сооружение скрипит и пищит, когда сани переваливаются на колдобинах и ухабах. Это — просека, не дорога: дорог здесь нет. Сани скрипят, раскачиваются, переваливаются. Хорошо, что зима. Летом куда как хуже.

Тракторист Лапшин сидит как барин. Левая его свободная рука небрежно закинута на круглую спинку сиденья. Лапшину — хорошо! Лапшина греет мотор. Недаром он так раскинулся на кожаном диване. Ему хорошо. А мне холодно. Только теперь я по-настоящему понимаю, что мне холодно. Кто это — Нансен или Амундсен — кто из них признался, что к холоду привыкнуть нельзя? Я спрашиваю об этом у Калинин. Он отвечает:

— По-моему, капитан Скотт...

Но все равно холодно. Я топаю валенками по дощатому ходячему днищу саней. От этого не теплее.

В углу саней — охапка сена, большая, пышная. На охапке большой сверток. Это закутан человек. У человека сломана нога. Человек закутан в две шубы и сверху, для верности, прикрыт байковым одеялом, коричневым, со светлой полоской. Ногу человека сломало рукояткой лебедки. Отказал стопорный механизм, рукоятка вертанулась в обратную сторону и хрястнула человека по ноге. Человека зовут Федор Петрович Шелепов.

Мы везем Шелепова в больницу, в районный центр. Сто десять километров от нефтеразведки. Начальник приказал Лапшину: промчи будто по облакам. А как промчать на тракторе будто по облакам? Трактор вправо-влево, вверх-вниз. Так и чувствуется, что на каждом встрясе скрежещет поломанная кость... Губы Калинин, мне кажется, я вижу это, на каждом встрясе болезненно морщатся.

Возле Шелепова, на той же охапке сена притулилась Валентинка. На нефтеразведке она врачевный бог: под ее руководством нахо-

дятся бинт, йод, зеленка, биомицин и — как утверждают некоторые — медицинский спирт. Валентинка недавно окончила какие-то фельдшерские курсы и врачует всех страждущих на свой страх и риск. Шелепов — ее первый «интересный медицинский случай». В силу этого Валентинка полна профессионального достоинства. Она стремится сохранить серьезный докторский вид. Она обволокла свое лицо серьезностью с того момента, когда в конторку принесли стонущего Шелепова и она, Валентинка, принялась накладывать шину и бинтовать. Она закусилла пухленькую губу, чтобы не разреветься при посторонних от жалости и страха, и с той поры у нее серьезный вид.

Но у Валентинки мерзнут ноги. У нее мерзнут коленки. Полушубок у Валентинки короткий, не доходит до валенок, между шубой и валенками полоска синих лыжных шаровар. Валентинка растирает синюю полоску и часто моргает мокрыми ресницами. Ресницы у нее пока еще городские — угольно-синие, наведенные по самой наипоследней моде. Но они мокры от снежной пыли и того гляди растекутся по румяным тугим щекам чернильными полосками. Валентинка это знает и не размазывает свои шикарные ресницы. Однако ей холодно и охота плакать.

Калинкин шагает в угол саней, наклоняется над Шелеповым, громко спрашивает:

— Как, Федор Петрович? Живем-дышим?

Шелепов глухо из-под тулупа отвечает:

— Бу-бу-бу...

Так мне слышится...

— Может, переложить тебя поудобней? — спрашивает Калинкин. — Может, дела какие справить? Ты не стесняйся, дело такое... Давай-ка...

Строго смотрит на Валентинку, приказывает:

— Отойди-ка, Валентинка... Отвернись...

И принимается колдовать над Шелеповым. Ворочает его кряхти и вполголоса ругаясь. Потом заново закутывает:

— Ну вот, порядок на транспорте... Лапшин!

Тракторист оборачивается. В сумраке на его обветренном лице блестят только белки глаз да зубы.

— Ты поделikatней, Лапшин! Человека везешь. Выбирай, где ровнее.

— Выберешь тут лешего! — весело отзывается Лапшин. — Тут

осенью дров наломали — так все и застыло. — Сверкнув зубами, он галантно приглашает уже в который раз: — Валентина Михайловна, идите сюда, здесь теплее!

Лапшин на людях называет ее на «вы».

Валентинка не отвечает. Она демонстративно не обращает внимания на Лапшина. Пожав плечами, она говорит Калинкину:

— Вот еще. Мое место возле больного.

— Иди, Валентинка, там действительно теплей, — советует Калинкин и добавляет: — Почему бы и не принять предложение такого кабальеро?

— Шли бы сами, — говорит Валентинка.

— Мне нельзя, — терпеливо и совсем серьезно объясняет Калинкин. — Я, брат ты мой, везу материальные ценности. Никак нельзя мне от них отлучиться. Ни на минуту. Возле них мое место. Вот так, Валентина.

В углу саней валяется старая полевая сумка. В сумке — материальные ценности Калинкина: протоколы собраний, какие-то акты и толстая пачка денег, завернутых в газету и перевязанных шпагатом. Пользуясь оказией, Калинкин, секретарь парторганизации, везет в город в сберкассу партийные взносы. Ребята за последнее время заработали с избытком, и пачка толстая. Сумка так и топорщится.

— А то иди, — еще раз говорит Калинкин.

Валентинка наклоняется к больному. Она сейчас сестра милосердия, она доктор, она — врачеватель, и ей до нас, здоровых, нет никакого дела. Поэтому она может и не отвечать на праздные вопросы. Тем более, если дело касается Лапшина. Лапшин — человек знаменитый, несмотря на то, что молодой и неженатый. Его имя навечно приклеилось к таежной речушке.

А сам Лапшин — как был баламутом, так баламутом и остался. Не лучше и не хуже. И все это знают, даже Валентинка. Потому и старается держаться с ним официально.

Калинкин откидывается корпусом, предупреждающе кричит:

— Держись!

Трактор снова ухаает в глубину. Острые верхушки елей словно по команде склоняются влево. И выравниваются. Нас встряхивает еще раз, еще... И мы скользим ровно, будто катимся на резиновых шинах. Вокруг светло. Справа, слева, впереди — повсюду мутная белизна. Темно только позади. Это удаляется, медленно

удаляется и уплывает лес. Какой он темный! Неужели только сейчас этот лес был светлый, искрящийся, такой елочный!

— Залив, братцы! — кричит Калинин. — Вот и перевалочная база! Вот где чайку попьем! Горячего!

Трактор стучит ровно. Кажется, что он просто жужжит. Никакого эха. Трескотня уходит в пространство — уходит и не возвращается. Ровная пелена снега. Залив скован льдом, на льду разлеглась мягкая подушка снега. Пушистого, лебяжьего.

Нас подхватывает ветер. Тугой, холодный, колючий. Так и старается пронизать насквозь. Мы поворачиваемся к ветру спиной и несколько боком. Потому что в движении всегда хочется глядеть вперед.

Впереди все темнее и темнее. На смутной белизне проступает противоположный берег залива. Он видится сквозь редкую сеточку летучего снега. Почему-то здесь, на просторе, мельтешат колючие снежинки.

Полосатый от снега тракторный луч нащупывает рябой снежный берег. Дрожащий луч обшаривает обрыв, гладит его, холодный, ощупывает, находит дорогу. Подъем крут — прямо на взъем, — и рокот трактора становится сильнее, ощутимее, упруге. Рокот отталкивается от кручи. А машина наша идет. Трактор чуть ли не втыкается носом в высокий берег, мотор взывает, машина наша, кажется, изгибает железную свою спину, вползает кряхтя на склон, следом вползают скрипя наши сани. Луч света выхватывает из темноты постройки, крыши, частокол, разбросанные по снегу бочки с горючим... Навстречу нам мчится жирный пес и залишисто лает. Лая не слышно. Но пес, по-видимому, об этом ничуть не беспокоится: ему бы сделать свое собачье дело.

Распахивается дверь хижины, окна которой так привлекательно светятся сквозь мрак, и навстречу выбегает молоденький начальник перевалочной базы. Кубинская борода его треплется на ветру. Кожаный реглан накинут на узкие плечи. Он что-то кричит и машет рукой.

Около ног хозяина мельтешит пес, путается в ногах и не дает начальнику возможности сказать свое слово. Начальник кричит, собака лает, трактор грохочет, ничего не слышно.

Только белое и черное — и гвалт.

Дверь хижины приоткрылась только на одно мгновение и лишь коротко блеснула светом, а потом захлопнулась. Но как из нее

пахнуло на нас теплом, уютом и ночлегом! И как сразу почувствовалось, что мы голодны!

Лапшин приглушает мотор. Становится тихо. Но ничего не слышно, даже собачьего лая. В ушах по-прежнему звон. И ноги на твердой земле не ощущают твердости.

И все-таки постепенно все возвращается на свои места: и земля, и звуки земли.

— А я будто знал! — кричит бородатый начальник. — Чайник поспел! Жарево готово! В картишки перекинемся!

Он страшно рад. Он не знает, что делать от радости. Так он одичал на своей перевалочной базе. Жирный пес носится вокруг, тоже выражая свою безграничную радость. Трактор поутих, он ворчит на холостом ходу, но шума не меньше.

К хижине мы пока не идем. Мы еще стоим в наших санях.

Калинкин отрывисто спрашивает:

— Чай на столе?

Начальник радостно подтверждает:

— Есть! Есть!

— Штаны есть?

— Есть! Есть! — Спыхватывается: — Какие штаны?

— Обыкновенные. Ватные.

— Найдем!

— Ищи.

Калинкин наклоняется над Шелеповым:

— Сейчас мы тебе чаю организуем... Пошли, Валентина.

— Мое место — возле больного, — бормочет Валентинка, вытирая курносый нос мокрой варежкой.

— Я знаю, где твое место, — говорит Калинкин. — Пошли.

В его тоне слышится приказ. Валентинка поднимается.

В хижине тепло. Полумрак, наполненный запахом рыбы и трубочного капитанского табака. Гудит, пылает железная печурка, сделанная из металлической бочки, в каких перевозят на дальнее расстояние горючее и спирт. Печка стоит в деревянном ящике, наполненном прокаленным песком. Песок утыкан окурками: в таких хижинах пепельниц не водится. Сам же бородатый начальник курит капитанскую трубку. Окурки в песке, словно визитные карточки, оставленные торопливыми шоферами и трактористами. Заскочил на минутку, погрелся, поел, покурил, ткнул окурком в песок — и прощай, до свидания, бородач, нас зовут дороги...

Бородатый начальник это знает. Но он, изнывающий от одиночества, привык радушно встречать каждую машину. Авось и задержатся люди возле его очага, авось перекинутся с ним в картишки. А потом, глядишь, соблазняются нарами, что сколочены в углу, кинут на темные доски свои замызганные и промасленные тулупы... Ведь бывает же такое!

А печурка пылает и гудит. По стенам мечутся желтые горячие блики. В углах хижины темно. Жиденький свет керосиновой лампы не в силах проникнуть дальше определенного круга.

На столе в беспорядке — сковородка с жаревом, нарезанный толстыми ломтями хлеб, разбросанные игральные карты... Бородач со стуком ставит на стол большой чайник и разнокалиберные стаканы и чашки.

— Бутылка у тебя найдется порожняя? — спрашивает Калинин.

— Найдется! — радостно отзывается бородач, звякает в углу посудой, рассматривает бутылку на свет лампы.

— Наливай, — говорит Калинин Валентинке. — Да осторожней. Не ошпарься!

Она наполняет бутылку коричневым наваром, заворачивает ее в газету и выносит на улицу Шелепову.

Лапшин, будто вспомнив что-то, выходит за нею следом.

Мы, не раздевшись, стоим у стола, берем руками жирные куски жареной рыбы и, обжигаясь, осторожно потягиваем крепкий чай. Он очень вкусный. Как и все вокруг в этой хижине, чай пахнет рыбой.

— Чем бы вас таким угостить? — суетится хозяин и, как редкость, достает литую головку сахара. Вытащив из-под лавки топор, откалывает большие куски.

— Кубинский, — доверительно сообщает он.

Врет бородач. Куба такого не производит.

Жирный пес ползком, на брюхе, тайно пробирается к нам, к людям. От людей, он знает, ему кое-что может перепасть. Ради куска сахара пес готов пойти на унижение. Трактористы избаловали его так, что он потерял свое собачье достоинство.

За дверью слышны невнятные голоса, возня, скрипит снег, снова голоса, приглушенный смех. Наконец дверь распахивается, и вместе с клубами морозного воздуха появляется Валентинка, растрепанная и запыхавшаяся.

— Отнесла, — говорит она.

Подходит к столу и как-то боком, неловко берет стакан, принимается дуть на чай. Губы ее вытянуты трубочкой, совсем по-детски.

— Отнесла, — повторяет она.

Мы молча пьем чай.

Входит Лапшин. Вид у него подозрительно деловитый. С размаху бросает меховые рукавицы на скамейку и берет стакан, манерно отставив мизинец. Лапшин явно рисуется. Лапшин знает себе цену. Он прихлебывает чай и смотрит на Валентинку. Она от волнения вытирает отсыревший нос. В отсвете неяркой лампы лицо Валентинки, все еще розовое с мороза, кажется и впрямь привлекательным. Особенно глаза, влажные от растаявшего снега, блестящие от пламени лампы. Или это по иной причине?

— Мотор что-й-то заглох, — как бы между прочим сообщает Лапшин. — Как бы не пришлось здесь заночевать...

И горестно вздыхает. Ох как неохота трактористу застрять на половине пути, как неохота ему рано поутру возиться с мотором!

Бородатый начальник обрадованно подхватывает:

— А что? Я вас прекрасно устрою! Вот здесь товарищ Калинин, вот здесь мы поместим товарища больного, вот здесь расположится товарищ Лапшин...

— Как заглох? — спрашивает Калинин и осторожно кладет на стол кусок сахара. — Это как понимать?

— А вот так, — отвечает Лапшин, пожав плечами.

Он отвечает дерзко, но в самой этой дерзости слышится неуверенность.

— Заглох? — переспрашивает Калинин и надевает шапку. — А ну-ка, идем.

И они выходят. Калинин, а следом Лапшин. И тут действительно становится слышно, что тракторного стрекотания давно уже нет. Нет и нет. А мы и не заметили. Бывает.

За стукнувшей дверью только скрипенье двух пар валенок на снегу и замирающие вдали сердитые голоса — все тише, все тише... Невольно я гляжу на Валентинку. Она стиснула в руках горячий стакан, и губа у нее, нижняя, прикушена. Так она вслушивается в эти шаги и сердитые голоса.

Мы молчим — даже наш суетливый бородатый хозяин. Мы машинально пьем чай и даже не дуем в стаканы. И мне почему-то

приходит в голову, что в наше время партийный руководитель должен знать и уметь нечто такое, что десяток лет тому назад вовсе и не считалось для него обязательным. Например...

И трактор начинает стучать. Он начинает стучать! Вероятно, он еще не совсем остыл на холоду. Мотор стучит, и мы трое начинаем шумно прихлебывать из наших огненных стаканов и о чем-то громко начинаем разговаривать...

Снова там, снаружи, на улице слышны приглушенные голоса, скрип снега под валенками... Ближе... ближе... Невнятный, сердитый голос Калинкина: «...мать!» С морозным визгом распаивается дверь. Калинкин и Лапшин. Оба сердитые. Больше Лапшин. Но он к тому же и смущен. Он разыскивает свои рукавицы, хотя они лежат на виду, и что-то бурчит себе под нос. Он ворчит, но вид у него виноватый. А Калинкин отрывисто спрашивает:

— Вы готовы? Едем?

И — к начальнику:

— Спирту мне поллитровку. За наличный.

Сует бутылку в карман, спрашивает:

— А где штаны?

И когда бородач выхватил их откуда-то из темного угла и вынес на протянутых руках, Калинкин объясняет:

— Не мне — ей...

Валентинка вспыхивает:

— Что вы!

Прихлопнув сверху свою шапку, Калинкин берется за дверную скобу, добродушно говорит:

— Делай, что велят... Пошли!

Это — всем нам, мужчинам.

Застегивая полушубок, я зябко поеживаюсь. Я очень долго застегиваю крючок за крючком. Я тщательно и долго поправляю воротник и прилаживаю шарф. Примериваю шапку так и этак. Натягиваю меховые рукавицы, разглаживаю их на руке и похлопываю одна о другую. Гляжу на веселую печурку, в которой пляшут и поют огоньки, взглядываю на лоснящиеся дощатые нары, на керосиновую лампешку, которая, кажется, вдруг засияла ярче. Натягиваю вкусный запах рыбьего жира и трубочного табака. И шагаю за порог.

Прощай, бородатый начальник, мечтающий о дальних странах, и ты прощай, жирный пес, потерявший собственное достоинство!

И снова стрекотание трактора, снежная пыль, взлеты и падения.

Лапшин ведет машину не оборачиваясь. Он как бы застыл. Руки крепко вцепились в рычаги фрикционов. Спина Лапшина виноватая. Валентинка тоже притихла. В ватных штанах ей тепло.

Опять нас облепляет снег — пыльный, противный. Опять коркой покрываются брови и щеки. Монотонно гудит и стрекочет трактор. В уши проникает вата. Все больше, все больше. Тепло. Есть на свете такой большой, красивый и хороший город — Хабаровск. Это очень большой и красивый город... большой город... красивый город... город...

Вздрагиваю от прикосновения руки к плечу.

— Вот ты говоришь: нефть — неорганического происхождения. А доказать ты это можешь?

Калинкин и сам, я знаю, сторонник теории неорганического происхождения нефти. В пылу спора он иногда доходит до того, что утверждает: ставь буровую в любой точке, вонзай свой бур — и ты обязательно наткнешься на нефтеносную вену или артерию. Нефть повсюду пронизывает земную кору, утверждает Калинкин, только все дело в том, что в одном месте она залегает глубже, в другом мельче. Вот и все. Такова точка зрения бурового мастера Калинкина. Что ж, может, оно и так. Пусть спорят ученые. Им виднее. Но к чему сейчас этот разговор? Что он изменит? Да и холодно. Спорить мне не хочется. Не хочется поднимать лицо из теплого и сухого воротника.

— Читай Ферсмана, — говорю я. — Наливкина читай, Петрова...

— А что?

— Как что?

Калинкин неожиданно, вопреки собственным убеждениям, кричит, что нефть — органическое вещество. Как каменный уголь. Понятно? Залежи морских существ. Мы их пока не знаем. Понятно? Калинкин не кричит, а выкрикивает. Разговору мешает гул. Я тоже кричу. Потом понимаю.

— Хитрец ты, Калинкин, — говорю я.

Он смеется — весело и откровенно.

— Давай покурим, — предлагает он.

Невкусно курить на морозе, на ветру, но мы смолим. Калинкину, должно быть, еще муторнее, чем мне. Для меня это вторая

бессонная ночь, а для него — третья, если не больше. Прошлую мы провели на его буровой, ждали фонтанирования. А днем какой сон? А еще днем провели семинар с агитаторами. И все еще на ногах. Так сложились обстоятельства...

— Так ты все-таки стал бы стрелять? — спрашиваю я.

Это случилось в воскресенье, под вечер, в день моего приезда на нефтеразведку, неделю тому назад. В общежитии девчат вдруг визг. Бушует пьяный верзила. Он посреди комнаты возле железной печурки размахивает табуретом. Стол валяется на боку. Девчата визжат, и от этого визга парень совсем обезумел. В это время толпу раздвинул человек с двустволкой в руках, прошел и гаркнул: «Брысь!» И сразу стало тихо. Парень некоторое время бессмысленными глазами глядел на двустволку, на человека, руки у него опустились, табуретка выпала. «Цыпленок!» — медленно и тихо сказал человек, и желваки на его скулах стали железными. «Марш домой!» — сказал он. Парень вобрал голову в квадратные плечи и побрел, спотыкаясь. Не думаю, чтобы он испугался дробовика. После я сказал об этом Калинин. Он согласился. И сейчас, улыбнувшись своей детской и чуть виноватой улыбкой, Калинин, как и в тот день, сказал:

— Я с охоты шел... случайно заглянул на огонек...

И мы смолкаем. Я думаю о Калинин. Что я знаю о нем? Ничего я о нем не знаю. Что я знаю о Лапшине, кроме того, что он баламут и знаменит своей речушкой? Что я знаю о Валентинке, об этой девчонке, сразу после школы и курсов попавшей в суровую обстановку, полную мужчин и других опасностей? Что я знаю о бородаче? Что я знаю о Шелепове? Что я знаю вообще о тех многих людях, которых встретил на нефтеразведке, кроме того, что они работают хорошо и добросовестно, что они доблестно делают трудное свое дело? Ничего я о них не знаю, ровным счетом ничего!

А мне надо писать о них в газету. Газета ждет оперативный материал. Газета требует этот материал. Газета живет этим материалом.

Словно угадывая мои мысли, Калинин спрашивает:

— Нашел у нас интересный материал?

С сомнением в голосе я отвечаю:

— Нашел...

— Писать будешь?

— Обязан.

— Про нефть. Про нашу буровую?

— Да. Про вашу.

Некоторое время он изучающе смотрит на меня. В сером снежном сумраке мне видны его пытливые и умные глаза. Медленно выговаривая слова, он будто размышляет вслух:

— Ну, цифирью ты запасся вполне. Все это у тебя есть. — И смолкает. — Ты не забудь, упомяни Прохорова Василия Кузьмича. И отметь особо, как Бабир-Абаз спуско-подъемные операции сократил. Есть это в твоём блокноте?

— Есть.

— Ну то-то. — Усмехнувшись, он добавляет: — Не мне вас, газетчиков, учить, вы сами грамотные...

А мне почему-то кажется, что есть у Калинкина такое, чему можно и поучиться. Но спросить не решаюсь. А он будто догадался:

— Ты молодой, в газетном деле недавно... Ты, знаешь, от себя пиши, от души, понимаешь? Будто с глазу на глаз мне лично очень интересное что-то рассказываешь. Понимаешь? О человеке пиши. Вот и все.

И надолго смолкает, а потом уходит к Шелепову.

А как писать о человеке? Трудно писать о человеке!

Холодно. Озноб пробирается откуда-то снизу. Ледяная корка норовит переползти с бровей на все лицо. Чувствую, как она шевелится, корка...

— Лапшин! — кричит Калинкин. — Дай первую скорость!

Не оборачиваясь, Лапшин понимающе кивает головой и со скрежетом передвигает рычаг. Трактор замедляет скорость. Калинкин переваливается через борт, кричит нам:

— Давайте! Валентина, прыгай!

Мы тоже переваливаемся через бортик. Держимся за его кромку и бежим за санями. Снег глубокий, скрипучий, валенки увязают почти до самого верха, до колен. Мы бежим и кричим что-то невнятное, беспорядочное и веселое. Бежим и кричим долго — минуты три или четыре. Затем на ходу подсаживаем Валентинку, вваливаемся сами и некоторое время сидим на полу саней, запыхавшиеся и жаркие.

— А теперь... — говорит Калинкин и достает бутылку. — Лапшин! Стоп! Иди сюда!

Трактор останавливается. С напускной неохотой Лапшин подходит к саням.

— Ну, что там? — капризно говорит он.

На его лице все еще сохранились остатки обиженности.

Но в руках у него припасена жестяная кружка. Калинкин, плеснув в нее из темной бутылки, коротко бросает:

— Глотни.

Лапшин, делая вид, что только подчиняется приказу, выплескивает в свою пасть спирт, бросает туда же пару щепоток снега. Продышавшись, говорит:

— Сильна!

И, покашливая, идет на свое место.

Следующая очередь — моя... Спирт, один-единственный глоток спирта. Он обжигает десны и нёбо. И холодный снег, не имеющий никакого вкуса. Затем мы уговариваем Валентинку выпить.

Кивнув подбородком на Шелепова (руки у него заняты бутылкой и кружкой), Калинкин спрашивает:

— А как на это дело посмотрит медицина?

Но Валентинка, все еще не продышавшись, только трясет ладошкой, будто обожглась. Калинкин шагает к Шелепову. Потом отдает команду Лапшину:

— Трогай!

И снова гул, колыхание саней, голубые лучи на белом снегу. Так идет эта ночь. Эта длинная ночь. Нас заметает снежной пылью. Мы бежим позади саней, и нас заносит снегом. Мы проваливаемся в снег. А потом пьем по глотку спирта. Широкий Лапшин сидит и не колышется. Валентинка засыпает, а мы ее будим, теребим, тормошим, что-то кричим ей, а она бормочет: «Отстаньте».

Снег. Повсюду снег. Сверху и снизу. Снег со всех сторон. Наконец-то небо светлеет, становится мутным, прозрачным, сетчатым. Светает. Выезжаем на твердую дорогу. Близко город. Мы видим город сквозь снежную сетку. Лапшин включает четвертую скорость. Мы с Калинкиным встаем. Придерживаем друг друга за плечи. Валентинка разговаривает с Шелеповым.

Проплывают мимо первые окраинные домики. Дома все чаще и все гуще. Город уже проснулся. Теплятся желтым светом окна домов. По тропинкам спешат пешеходы. Гул трактора становится глуше. Или так кажется в городе? Подъезжаем к приземистому зданию. Главный вход ярко освещен. Больница. Валентинка, не

дожидаясь, пока Лапшин как следует развернет машину с санями, спрыгивает, бежит в здание и через минутку выбегает оттуда с санитарками, такими же курносыми и молоденькими. Они что-то кричат и волокут носилки. И тогда мы с Калининским говорим:

— Брысь!

И, пошатываясь, переносим из саней, из захлестнутых снежной пылью саней Шелепова и осторожно укладываем его на брезентовые носилки. Вокруг нас, словно снежные королевы, носятся курносые красавицы в белых халатах. Мы говорим им:

— Позвольте!

И они расступаются. Мы проносим Шелепова туда, куда его надо пронести. А затем, шатаясь, уходим. Затем мы оказываемся в каком-то кабинете. В нем тепло и сухо. На белом письменном столе телефон. Я опускаюсь на клеенчатый диван — холодный и липкий больничный диван. Говорю телефонистке номер. Долго не отвечают. Наконец — хриплый прокуренный голос:

— Эге?

Сам редактор нашей районной газеты. Я кричу в трубку:

— Иван Михайлович, это вы?

Мне кажется, что я кричу громко. Но он переспрашивает:

— Эге? Что?

— Иван Михайлович, — кричу я, — примите информацию!

— А! — поняв, он оживляется. — Приехал? Долгонько, брат. Мы тебя совсем потеряли. Сейчас возьму карандаш. Диктуй...

— Встав на предпраздничную вахту, — кричу я, — нефтеразведчики Первомайской... Мастера товарища Калинин... Буровая номер сто двадцать дробь шестнадцать... Пройдена досрочно... Дала фонтанирующую нефть... Вы записываете, Иван Михайлович? Фонтанирующую. Ее суточный дебит — сто двадцать тонн...

Я диктую, а в голове: «Не то! Не то! Не то!» Но остановиться я уже не могу. И не могу обо всем этом, таком нужном, сказать по-иному, иными, хорошими словами...

Из телефонной трубки доносится до меня:

— Да, да... Твою информацию даю на первую полосу... на первую полосу... Отдыхай сегодня, спи...

Телефонная трубка валится у меня из рук. Проходит какое-то время. Надо мною склоняется пестрый шарф. Калинин. Его тяжелая рука лежит на моем плече. Он что-то говорит. Он говорит будто из далекого далека:

— Спи. Спи. Я — сейчас, я только деньги сдам. А потом пойдем в столовую. Я за тобой зайду.

Диван теплый и липкий. Голова так и приклеивается к спинке. Я не могу оторвать голову. Голова тяжелая. Захватывает и укачивает теплое и темное — такое властное. А Калинин:

— Спасибо, друг...

За что? Я делаю движение рукой, отказываясь. Я отказываюсь. Я бормочу:

— Это — тебе...

Он возражает:

— Это ты не дал мне уснуть...

Кто — кому?

И, прежде чем погрузиться с головой в теплое и темное, я еще успеваю пробормотать:

— Спасибо, друг...



Николай Домовитов

ОБЕЛИСК В СТЕПИ

Вот и снова идет весна по донецкой степи. Идет, спешит, словно девчонка на первое свидание. Солнечная улыбка играет на ее лице, зеленые ленты трав переливаются в темных косах, небесная голубизна плавает в больших бездонных глазах.

— Смотрите, какая я красивая! — кричит она звонким голосом.

До чего же щедра эта девчонка-весна! Разноцветными огнями цветов греет она промерзшую за зиму землю, в яркий зеленый наряд одевает ветви деревьев, возвращает из дальних заморских

стран пернатых певцов, бескорыстно делится своей молодой, безмерной любовью.

Повсюду чувствуется ее ласковое дыхание. Оно струится в небе, стелется по степи, проникает глубоко под землю. Заработает на поверхности шахтный вентилятор, погонит по подземным выработкам свежий духмяный воздух, и расправит уставший углуб плечи, вздохнет полной грудью, скажет:

— Весна!..

Настежь распахнулись окна в шахтерских домиках, и гуляют в них волглые сквозняки, хлопают тюлевые занавески, сдувают легкую пыльцу с листьев герани.

А ночью в небе вспыхивают далекие звезды. Они мигают, словно маленькие светофоры на бесконечных дорогах Вселенной, переговариваются между собой на звездном языке, не понятном людям. И жадно тянутся в небо деревья, пьют хмельную влагу земли... Они чуть слышно раскрывают тугие почки, выбрасывают в тревожную тишину клейкую листву и робкие лепестки цветов.

Наутро не узнать деревьев. Будто невесты стоят в садочках молоденькие яблони. Зелеными чубами кивают им через низенькие дощатые заборы клены, приглашают красавиц выйти погулять на широкую весеннюю улицу.

Замирает сердце у девчат. Они подолгу стоят перед зеркалом, всматриваются в свои слегка затуманенные глаза, заламывают руки в сладком предчувствии неизведанного счастья.

Вечерами, когда в небе плывет желторогий месяц, степь замирает. Каждой травинкой, каждым лепестком прислушивается она к перестуку молодых сердец, к шепоту горячих губ:

— Любишь?

— Люблю.

— У нас будет сын...

Еще совсем недавно гудел здесь жаркий бой, вставала дыбом земля, стонала под ударами железного грома, корежилась под гусеницами танков.

А теперь у степной дороги стоит невысокий обелиск с пятиконечной звездой, вырубленной кем-то из листового железа.

Идут годы...

Но идут, а стремительно летят они над землей в блеске солнца, в малиновых зорях, в свисте осенних ветров, в шелесте золотого листопада, в грозах и метелях.

Летят годы...

Залечила земля раны, нанесенные войной, разгладила на лице своем глубокие морщины окопов и траншей, стряхнула с древней головы седой пепел пожарищ.

Высохли слезы на глазах вдов, в новой любви нашли утешение невесты погибших. Только матери продолжают ждать.

Выросли сыновья. Они стоят уже у полковых знамен, под которыми умирали их отцы.

Как быстро летит время!

Желтогогий месяц плывет над обелиском...

Каждой травинкой, каждым лепестком прислушивается весенняя земля к перестуку молодых сердец, к шепоту горячих губ.

— Любишь?

— Люблю.

У нас будет сын

— Петя, у нас будет сын, — счастливо и немного смущенно прошептала Леночка, прижимаясь к теплему плечу мужа.

Молодая женщина давно уже почувствовала, как толкнул ее ножкой под сердцем маленький, но все стеснялась сказать об этом Петру. Она тайком от мужа сшила байковые распашонки, купила в гарнизонном универмаге пинетки из мягкой кожи.

— Петя, ты слышишь? — спросила Леночка в темноту и снова ничего не услышала в ответ, кроме тихого ровного дыхания мужа. «Спит», — подумала она и заботливо поправила солдатское одеяло, сползающее с кровати. «Устал за день, намаялся на учениях с бойцами».

Из-за легкого облачка показалась луна. В комнате сразу стало светлей. Бледные лучики побежали по стенам, заиграли на никелированной спинке кровати. В призрачном лунном свечении стала угадываться немудреная обстановка: стол, шкаф с круглым зеркалом, два стула с гнутыми спинками. На одном из них лежало обмундирование Петра. На рукаве гимнастерки поблескивал узкий лейтенантский угольник. Из-под кровати выглядывали круглые носки сапог.

«Утром надо почистить их», — подумала Леночка.

Она любила, чтобы ее муж всегда выглядел молодцеватым и подтянутым. Ей нравилось, когда новенький командирский ремень

с медной звездочкой плотно облегал его талию, собирая в мелкие ровные складочки гимнастерку. Нравилось, когда поблескивали на солнце его хромовые сапоги.

Вот лежит он рядом — ее муж лейтенант Петр Барсуков. Спит, как мальчишка, положив под щеку ладонь, и чуть слышно посапывает. И ничегошеньки он пока не ведает. Не знает, что у него скоро будет сын, такой же курносый, как отец. Леночке вдруг захотелось среди ночи растормошить мужа, разбудить его поцелуями, закружить по комнате, как когда-то на школьном выпускном вечере. И все-таки будить мужа было жалко. Слишком уж сладко он спал после напряженного дня.

«Скажу завтра», — решила она и, поудобнее вдавив в подушку голову, закрыла глаза. Но сон не шел к ней.

Муж... Как-то даже немного странно — Петя Барсуков ее муж. А ведь совсем недавно они вместе ходили в школу, сидели за одной партой, бегали на Каму купаться.

Вечерами в парке над Камой зажигались огни. Сотни людей гуляли по его широким аллеям, сидели на скамейках под матовыми плафонами электрических фонарей, о чем-то говорили и громко смеялись. Они же, не сговариваясь, сворачивали в боковую аллею и шли туда, где на краю обрыва жалась к раскидистой липе одинокая скамейка. Внизу плескалась ночная Кама. Когда по ней проплывал озаренный огнями пароход, тяжелые волны начинали катиться к берегу, ударяться о борты лодок, прикованных железными цепочками к бревенчатому причалу. Цепочки легонько звенели.

Каждый вечер в парке до одиннадцати часов играл духовой оркестр. Когда он смолкал, Леночка поднималась со скамейки и похотя снимала со своих плеч Петин пиджак.

— Мне пора. Мама ругать будет, — говорила она.

Потом Петр уехал в военное училище. Почти каждый день приходили от него письма. Они и сейчас хранятся у Леночки в чемодане. Хорошие письма. Когда вырастет сын, можно будет дать ему почитать. Конечно, только кое-какие. Сыну не обязательно знать все тайны родителей.

Леночка улыбнулась этой мысли и постаралась представить, каким будет сын. Ей очень хотелось, чтобы он непременно был похож на Петра. Только глаза у него пусть будут ее, Леночкины, большие, карие, с длинными изогнутыми ресницами.

Маленький легонько шевельнулся под сердцем, будто почувствовал, что мать думает о нем.

«Кровинка ты моя», — прошептала Леночка и осторожно повернулась на другой бок, чтобы не разбудить мужа.

Но уснуть она так и не смогла. Снова полезли в голову разные мысли, замелькали в памяти картины недалекого прошлого.

Вот идут они с Петром по улице родного городка. Знакомые девчата с завистью смотрят вслед. Петр — в новенькой военной форме. Можно пойти в парк, посидеть на знакомой скамейке, послушать духовой оркестр и не надо говорить в одиннадцать часов вечера:

— Мне пора, мама ругать будет.

На другой день они уезжали в маленький пограничный гарнизон, к месту службы Петра. На душе радостно и немного тревожно.

Проводить молодоженов в далекий путь пришли родители, школьные друзья. Отец Петра, плотник с цементного завода, кашляя в ладонь, говорил степенно:

— Смотри, товарищ лейтенант, службу неси исправно. Сам знаешь, какое сейчас время. Война по Европе гуляет. Не ровен час, и к нам заглянет.

Мать Петра, то и дело вытирая заплаканные глаза, советовала:

— Живите дружно, мои деточки. Не обижайте друг друга.

Леночкина мать поддакивала, хотя ей и не очень хотелось отпускать от себя единственную дочь. Но что поделаешь, если дочь выросла, если вот этот парнишка в лейтенантской форме стал для нее дороже матери. Такова уж судьба матерей. Родить, нянчить, пестовать детей, провожать их неведомо куда, изредка получать письма от них...

Когда дежурный по вокзалу ударил в медный колокол, мать бросилась целовать Леночку, словно прощалась с ней навсегда.

— До свидания! — кричала Леночка с вагонной площадки. Петр помахивал своей новенькой фуражкой. На лакированном козырьке играл солнечный зайчик.

За окном проплыла Кама, песчаный пляж, промелькнули аллеи городского парка.

До свиданья, город детства, город первой любви!

В пограничном городке молодоженам дали квартиру. Маленькая комната, залитая лунным светом... Не беда, что нет в ней

хорошей мебели, а в шкафу висят всего лишь два ситцевых платяника и старенькое демисезонное пальто. Не беда, что пока приходится брать у соседей кастрюли, чтобы сварить обед. Все будет со временем...

...Сон начал смыкать Леночкины глаза, обволакивать туманной дымкой сознание. Из этого состояния Леночку вывел неожиданно грянувший гром. «Жалость какая, — подумала она, — завтра мы с Петей собирались сходить в лес за цветами, а тут на тебе — дождь».

Гром повторился. Его раскаты становились все громче и громче. Леночка натянула одеяло на голову: она с детства боялась грозы.

Гром не утихал. Он уже перешел в сплошной, непрерывный грохот. Леночка в испуге вскочила с кровати и зажмурила глаза от яркого света, хлынувшего в комнату. Проснулся и Петр. Спросонок он тоже ничего не мог понять.

Гром продолжал греметь. В комнате метался багровый свет, не похожий на вспышки молний.

Барсуков принялся быстро натягивать на себя гимнастерку, галфе, сапоги. Сапоги были узкие и никак не хотели налезать на ноги.

— Мне нужно в часть! — крикнул он с порога Леночке и распахнул дверь.

В это время страшный взрыв потряс весь дом. Посыпалась с потолка штукатурка, зазвенели выбитые стекла.

— Это война! — крикнула Леночка.

— Сейчас же иди в бомбоубежище! — приказал ей Петр и со всех ног бросился бежать к штабу, над которым уже полыхал огонь.

«Это война, это война», — лихорадочно думал Петр, сжимая рукоятку пистолета. Высоко в небе гудели чужие, не видимые с земли самолеты да била из-за реки тяжелая артиллерия.

Около казармы метались командиры, собирая бойцов.

— К берегу! К берегу! — кричал осипшим голосом командир батальона капитан Шубин и зачем-то стрелял в воздух из своего маленького пистолета. В грохоте разрывов его выстрелов не было слышно.

Вдоль реки были вырыты окопы. Бойцы прыгали в них, занимали оборону. Барсуков лихорадочно смотрел на противополож-

ный берег. В предутреннем тумане там сосредоточивались для удара тяжелые танки. Было слышно, как рычат их моторы.

«Будут наводить переправу», — подумал лейтенант и приказал: — Приготовиться к бою!

О жене он вспомнил лишь тогда, когда сделал первый выстрел по врагу.

А Леночка в это время в одном легком халатике, накинутом на ночную сорочку, в комнатных шлепанцах на босу ногу, вместе с толпой бежала по пылающей улице городка. Языки пламени вырывались из окон, плясали над крышами. Гудело небо, стонала земля.

Шлепанцы слетели с ног, но Леночка не заметила этого. Она бежала вместе со всеми по булыжникам мостовой, падала и снова вставала.

Люди бежали к вокзалу, чтобы втиснуться там в вагоны и вырваться из этого ада. Но было уже поздно. На железнодорожных путях зияли огромные воронки, высокими кострами пылали вагоны. Словно тяжелораненные звери, с ревом метались среди пламени и дыма паровозы.

Обезумевшая толпа снова ринулась в город. Люди бросали ненужные узлы и чемоданы, кричали, плакали, ругались... Женщины крепко прижимали к груди детишек, уставших от плача.

Плыл дымный рассвет. Хорошо были видны тяжелые бомбардировщики, кружащиеся над огненной чашей города. Они разворачивались и, стремительно пикируя вниз, освобождались от бомб. Перейдя на бреющий полет, строчили из пулеметов. Люди на мостовой падали и не поднимались больше. Леночка с ужасом смотрела на все это.

Где-то рядом завыл мотор. Леночка оглянулась и не успела даже крикнуть от страха. Что-то горячее, острое, как игла, пронзило ей грудь, бросило на булыжники мостовой. Она только успела с сожалением подумать о том, что не сказала Петру о сыне, и инстинктивно прикрыла руками живот.

Птенцы

Из-за кромки соснового бора медленно выползло яркое летнее солнце и принялось нещадно обстреливать тонкими лучами покрытую утренней росой землю. Росинки задрожали, заискрились на

стебельках трав всеми цветами радуги. Зашевелила мокрыми усиками начинающая созревать пшеница.

Словно приветствуя восход солнца, зазвенели над полями жаворонки.

Семен Ткачук встал в это июньское утро раньше обычного. Нужно было скосить траву на делянке возле соснового бора.

Наспех умывшись под глиняным рукомойником, Семен отбил косу на стальной бабке, провел по ней несколько раз мокрым бруском. Потрогав лезвие ногтем большого пальца, удовлетворенно причмокнул губами.

Услышав звон косы, из хаты выбежал сынишка Семена — десятилетний Грицко.

— Тату, и я с тобой пойду, — начал проситься он, потирая кулаками заспанные глаза.

— Спать тебе еще надо! — прикрикнул отец, но мальчишка не унимался.

— Хорошо. Только не хнычь да поесть собери что-нибудь.

Грицко мигом юркнул в хату. Вернулся оттуда с большим куском сала и краюхой хлеба. Сунув их отцу, сбегал в огород, нащипал с грядки зеленого сочного лука.

Семен бережно завернул все это в старенькое вафельное полотенце.

— Пошли, — сказал он сыну и перекинул через плечо косу.

Дорога к сосновому бору шла полем. Грицко бежал впереди, поднимая босыми ногами клубы густой желтой пыли, а Семен то и дело останавливался, трогал пшеничные колосья.

«Скоро убирать можно будет», — думал он, разжевывая сладкие, еще незрелые зерна.

Большая семья у Семена Ткачука. Трое детишек один другого меньше. Самый старший — Грицко, помощник отцовский. Вон как на работу торопится, аж пыль столбом стоит.

Вдоль бора росла, впережку с цветами высокая трава.

Кое-кто из мужиков уже успел скосить свои делянки. Скошенная трава сохла под солнцем. От нее пахло дурманящим ароматом мяты, клевера, ромашки, мышиного горошка...

У Семена закружилась голова от этого запаха. Присев под высоченную сосну, он достал из кармана кисет с самосадом, закурил. Горький дымок, выпущенный из ноздрей, за клубился в прокуренных усах.

А мальчишке не сиделось на месте. Он кувыркался в росистой траве, бегал за бабочками. Из-под его ног неожиданно выпорхнула перепелка. Хлопнув крыльями, она опустилась неподалеку.

— Тату, тату! — закричал Грицко. — Иди сюда, я гнездо нашел.

Семен подошел к сыну и раздвинул траву у его ног. В гнезде копошились еще голенькие птенцы. Они жалобно пищали, раскрывая клювы, окаймленные желтой пленкой. Рядом с гнездом валялась серая яичная скорлупа.

«Недавно вывела», — подумал Семен, прикрывая гнездо травой.

— Давай их домой возьмем, — предложил Грицко и потянулся к птенцам.

Отец, сердито посмотрев на него, спросил:

— Тебе их не жаль?

— А чего их жалеть, — засмеялся Грицко и снова потянулся к гнезду.

— Мы сейчас вот что сделаем, — проговорил Семен и в раздумье посмотрел вокруг.

Увидев куст жимолости, растущий посреди буйной травы, он осторожно взял гнездо с птенцами. Раздвинув траву под кустом, Семен ударом каблука сделал в сырой земле вмятину и осторожно опустил в нее гнездо. Птенцы продолжали пищать.

— Идем отсюда, — сказал он сыну и пошел прочь от куста. — Только не подходи к ним больше, мать сама их найдет.

— Ладно, — нехотя согласился Грицко.

Затоптав окурок, Семен снял косу с сучка сосны, поплевал на ладони и, широко размахнувшись, опустил острую литовку в разнотравье. Скошенная трава покорно легла к его ногам.

— Вжик-вжик, — пела коса.

Грицко с интересом наблюдал за работой отца. Оказывается, это совсем просто — косить траву.

— Тату, дай я попробую, — попросил мальчишка.

Отец повернулся. Тяжело дыша, стоял он опершись подбородком на косовище.

— Дай я попробую, — еще раз попросил Грицко.

— Ну что ж, попробуй, — улыбнулся отец и показал, как правильно держать косу.

Мальчишка крепко вцепился в деревянную дужку, пристроенную на середине косовища, и взмахнул косой, во всем стараясь

подражать отцу. При первом же взмахе коса клюнула носком в землю и не двинулась с места.

— Вот так надо, — подсказал отец, поправляя косу в руках сына, — пятку к земле прижимай.

С помощью отца Грицко скосил первую полосу. Получилась она неровной. Местами трава была скошена под самый корень, а местами торчала высокой колючей щетиной.

— Ничего, научишься, — успокаивал отец.

Солнце уже стояло высоко.

— Может быть, пообедаем? — спросил Грицко.

— Можно и поесть, — согласился отец. — Мы с тобой сегодня славно поработали. Без тебя я, наверно, не справился бы.

Грицко гордо выпятил грудь и с напускной важностью ответил:

— Конечно, одному трудно.

Отец довольно улыбнулся в усы. Растет хлопец, ничего не скажешь.

Обедали под сосной. Грицко за обе щеки уминал черный хлеб с салом, стараясь не отстать от отца. Наевшись, он повалился в траву и, поглядывая в голубое небо, мечтательно, как взрослый, промолвил:

— Теперь Зорьке на всю зиму сена хватит.

— Хватит, сынок, хватит, — так же мечтательно отозвался Семен и лег рядом с сыном.

Над ними плыли причудливые облака.

В село они вернулись в полдень. На околице Семена ошеломило страшное слово:

— Война!

— Какая война? С кем война? — срывающимся голосом спросил он у плачущей женщины.

— Гитлер проклятый напал! — кричала та, потрясая кулаками.

Семен стоял посреди улицы и от неожиданности не мог двинуться с места. Коса подрагивала на его плече.

— Тату, пойдем домой, — дергал его за рукав Грицко.

Мальчишка никак не мог понять, почему так испугался отец.

Такой большой и сильный и вдруг испугался. Подумаешь, великая важность — война! Это даже хорошо. Можно будет посмотреть, как стреляют настоящие пушки, как сражаются в небе самолеты. Грицко не раз видел войну в кино. Там это здорово полу-

чается. Музыка при этом играет веселая-превеселая, как на каруселях в Ольшане, куда Грицко недавно ездил с отцом.

Повесив косу под навес, Семен вошел в хату. Жена встретила его плачем:

— Пропали наши головушки, — голосила она. — Немец войной попер.

Детишки жались к матери, теребили ей юбку, хныкали.

— Говори толком, — оборвал ее Семен и тяжело опустился на лавку.

— По радио объявляли, — продолжала голосить жена. — Киев бомбили и еще какие-то города.

— Перестань реветь! — прикрикнул Семен. Потом обхватил голову руками, долго сидел в глубоком раздумье. Ему еще не верилось, что грянула война, что где-то уже горят города и села, льется человеческая кровь.

— Пойду в сельсовет, — сказал он жене и поднялся из-за стола.

Из сельсовета Семен вернулся быстро. Он своими ушами слышал там, как хрипая черная тарелка репродуктора передавала первые сводки с полей сражений.

— Правда это, Маша, — угрюмо сказал он жене и замолчал.

— Значит, и тебя возьмут? — спросила Мария дрогнувшим голосом и припала к широкой груди Семена.

— Одна ты теперь с детьми останешься, — с горечью сказал Семен и, как когда-то в юности, посмотрел в глаза жене.

Дочурки — пятилетняя Валя и трехлетняя Оля, — не обращая внимания на родителей, играли в углу хаты: укладывали спать тряпичных кукол на кровати, сколоченные Грицком из кусков фанеры.

Мария посмотрела на них и снова расплакалась. Грицка в хате не было.

— Давай подумаем, что делать будем, — предложил Семен, хотя прекрасно знал, что ничего доброго сейчас уже не придумаешь и ничего не изменишь. Все будет так, как решит вершительница судеб человеческих — война.

А все-таки кое-что еще можно сделать.

Семен вспомнил, как Мария жаловалась на крышу сарая, которая протекает. Значит, надо починить. Нужно отремонтировать и покосившийся забор, сколотить новую лестницу для погреба.

Старая сгнила — того гляди ноги сломаешь. Нарубить дров. Хворост давно лежит во дворе, но все руки до него не доходили.

— Ты куда? — заволновалась Мария, когда Семен направился к дверям.

— Дело есть, — буркнул он.

Починив крышу сарая и сколотив новую лестницу, Семен принялся рубить хворост. Сухой ольшаник и березовые ветки хрустели под ударами топора.

Грицко помогал отцу: таскал нарубленный хворост под навес, складывал в поленницу.

— Матери во всем помогай, — наставлял Семен сына. — Ты теперь один в доме остаешься.

— А как же, — с достоинством отвечал Грицко и, чтобы показать отцу, какой он сильный, поднимал с земли охапки хвороста побольше.

— Не надорвись.

— Не маленький.

— Ты что, или не слышал про войну? — окликнул Семена через забор пьяненький сосед. — Горилку с горя пить надо, а ты дрова рубишь. Пошли ко мне. У меня, брат, первачок есть.

Семен отказался.

— Пошли, пошли, — настаивал сосед.

— Не пойду, — отрезал Ткачук и снова взялся за топор.

— Ну, как хочешь, — махнул рукой сосед и, покачиваясь, пошел по улице, мурлыча под нос старую рекрутскую песню.

В небе зажглись звезды, а Семен, не чувствуя усталости, продолжал работать. Порубил хворост, поправил забор, вплел в него десятка два гибких прутьев, покрепче вбил в землю дубовые колья.

В хату Семен вернулся, когда на дворе стало совсем темно.

— Занавесить надо, — кивнул он на окна. В сельсовете так приказали.

Когда Мария занавесила окна, Семен зажег керосиновую лампу, висевшую над столом.

«Теперь можно и вещи в дорогу собирать», — подумал Семен и не знал, как сказать об этом жене.

Дрожащими руками открыла Мария сундучок, вынула оттуда пару белья, серый хлопчатобумажный пиджак в елочку, коричневую рубаху в белую полоску. Семен свернул белье, а пиджак с рубашкой отложил в сторону.

— Грицку перешьешь, а из рубахи девчатам платишки получатся.

Мария, горестно вздохнув, положила пиджак и рубаху на место.

Ребятишки уже легли спать. Валюшка с Олей легли вместе. Из-под домотканного одеяла виднелись их льняные головенки. Семен подошел к кровати и, наклонившись над дочурками, стал пристально разглядывать их сонные личики. Какие у него хорошие дочки! Раньше он не замечал этого: некогда было присматриваться. Валюшка на мать похожа. Вырастет, такой же красавицей будет.

«Птенцы вы мои маленькие», — подумал Семен и невольно вспомнил сегодняшний сенокос, птичье гнездо под кустами жимолости.

Грицко притворился спящим. Из-под краешка одеяла наблюдал он за родителями. Когда отец подошел к нему, мальчишка крепко зажмурил глаза, но дрожащие ресницы выдали его.

— Почему не спишь? — нарочито строго спросил Семен.

— Не хочется.

— Спи, спи.

— Ладно, — согласился Грицко. — Только когда на войну пойдешь, обязательно разбуди меня.

— Разбужу. А ты потом не забудь сено в копну сложить.

— Сложу.

— Птенцов под кустом не вздумай трогать.

— Ладно, — уже засыпая, пообещал сын.

Семен достал из-за печи мешочек с самосадам. Развязал его. Понюхал горький табак и, снова завязав, положил рядом с бельем.

— Вот и собрался, — вздохнул он.

На стене громко стучали ходики. Два часа ночи. Потушив свет, Ткачук выглянул в окно. Улица серебрилась в лунном свете. Где-то залаяла собака. И снова не поверилось Семену, что идет война.

— Спишь? — окликнул он жену.

— Какой уж тут сон, — отозвалась Мария из темноты.

Раздевшись, Семен прилег рядом с ней и сразу почувствовал, как устал за день.

...Наутро рядовому запаса Семену Ивановичу Ткачуку принесли повестку. Ему предлагалось срочно явиться в райвоенкомат, имея при себе пару белья, ложку, иголку с ниткой...

Сергеа Криница фотографировался в своей жизни дважды. В первый раз фотоаппарат запечатлел его для потомства голеньким, с погремушкой в пухлых ручонках, а во второй — крепким парнем с симпатичными ямочками на щеках. Детский портрет хранился у него на дне чемодана, карточки более поздних лет пошли на паспорт, комсомольский билет, шахтный пропуск.

Надобность фотографироваться у парня отпала с тех пор, как на экранах появился кинофильм «Моя любовь» с участием Переверзева. Криница был здорово похож на этого артиста. Даже мать не разобрала, когда Серега послал ей вместо своего портрета карточку двойника, купленную в газетном киоске. Она только написала: «Уж очень мне понравился твой костюм. Наверно, рублей восемьсот за него отвалил».

Сергее пришлось заказывать в ателье мод точно такой же костюм и покупать в универмаге полосатый шелковый галстук, похожий на переверзевский.

Поразительное сходство с артистом кино имело свои положительные и отрицательные стороны. Ребята на шахте подшучивали, а на улице и в парке не было прохода от незнакомых девчат.

— Смотрите, смотрите, Переверзев идет, — ахали они.

Серегу это поначалу забавляло, а потом он стал злиться. Иногда ему хотелось повернуться и показать девчатам дулю. Бывали и такие случаи, когда настойчивые поклонницы подходили к нему на улице и, протягивая карточку, смущенно просили:

— Подпишите, пожалуйста, на память.

Сергеа вежливо улыбался, доставал из кармана ручку, писал размашисто: «На добрую память».

Но однажды новоявленный Переверзев пошел за девушкой сам. Было это светлым весенним вечером в городском парке. Серега сидел на скамейке и безразличным взглядом наблюдал за гуляющими. Он уже привык к своей артистической славе и равнодушно реагировал на красноречивые взгляды поклонниц. Как говорится — пошел в роль. Мимо него прошла высокая стройная девушка в белом платье, обсыпанном красным горошком. Прошла и даже не посмотрела в его сторону. Серегу это задело.

Девушка уже была далеко. Мелькнули красные горошки и укатились куда-то за поворот аллеи.

На эстрадной площадке играл оркестр. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», — всхлипывал саксофон. «В этот час ты призналась, что нет любви», — отвечает ему одинокая скрипка.

Сереге любил музыку. Она всегда действовала на него возбуждающе. Иногда хотелось плакать, а в другой раз — лихо отплясывать какую-нибудь лезгинку или гопака.

Сегодня музыка действовала на него как-то странно: не хотелось ни плакать, ни плясать. Просто было желание закрыть глаза и молча слушать ее, угадывать в звуках музыки плеск морских волн, шепот кипарисов.

Тряхнув головой, Серега встал. «Пойду лучше пива выпью», — решил он.

Знакомая буфетчица, нацедив ему полную кружку пенистого «Жигулевского», спросила:

— Скучаете?

Сереге ничего не ответил. Не отходя от стойки, он залпом опорожнил кружку и, бросив на мокрый поднос измятую рублевку, вышел на воздух.

В парке зажглись фонари. Электрический свет, пробиваясь сквозь молодую листву деревьев, бросал на асфальт желтые пятнышки, похожие на горошинки. «Чего мне эти горошинки дались?» — со злостью подумал Серега, шагая по электрическим бликам, а в глубине души ему хотелось встретиться с хозяйкой горошинок, познакомиться с ней.

«Наверно, на танцы пошла», — решил он и свернул в аллею, ведущую к танцплощадке. Сквозь реденький забор Серега принялся внимательно рассматривать танцующих, но той, которую он хотел увидеть, среди них не было.

Сереге искал девушку на танцплощадке, а она тем временем сидела в буфете и спокойно ела из стеклянной вазочки мороженое.

Войдя в буфет, Серега от неожиданности растерялся. Вот так штука! Что же теперь делать? Конечно, нужно сесть за ее столик. Благо, что девушка сидит одна.

Не раздумывая, Серега подошел к ней и, галантно поклонившись, спросил:

— Можно около вас присесть?

Девушка вскинула продолговатые серые глаза, опущенные густыми ресницами, и, зардевшись от смущения, проговорила:

— Пожалуйста.

Сергеа взял со стола меню, подозвал официантку.

— Бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет, — заказал он.

— Не разделите ли вы со мной компанию?

Девушка смутилась еще больше, а Криница, не дожидаясь ее согласия, уже просил официантку принести второй бокал.

Налив девушке вина, Серега предложил:

— Давайте выпьем за знакомство.

Девушка тряхнула светлыми кудряшками, перетянутыми розовой ленточкой, и так посмотрела на Серегу, что у него дух захватило. До чего же есть красивые глаза!

Девушка протянула Сереге маленькую белую руку с розовыми ноготками и не проговорила, а пропела:

— Светлана.

— Иван, — буркнул Криница имя Переверзева и быстро убрал под стол свою грубую шахтерскую руку.

Светлана выпила. Щеки ее разругались, глаза посветлели, будто кто-то плеснул в них немного голубизны.

— Вы надолго приехали в наш город? — уже более смело спросила она.

— Надолго.

— А все же?

Сергеа пожал плечами:

— От начальства зависит.

— От режиссера?

— От него.

Сергеа посмотрел в доверчивые глаза девушки и почувствовал, как начинает краснеть. Ну, зачем ломает он эту комедию? Зачем бессовестно врет, выдавая себя за артиста? Но и отступать было уже поздно, как теперь скажешь: мол, никакой я не Переверзев, а простой донецкий шахтер Серега Криница?

«Водки, что ли, тяпнуть, — подумал он, — чтобы в башке закружилось да вранье поскладнее получалось? Она в таких случаях помогает. Но не станешь же пить водку в присутствии Светланы! А все-таки что-то надо предпринять!..»

— Разрешите на минуточку отлучиться? В буфет за папиросами сходить, — нашел Серега выход.

— Пожалуйста.

Буфетчица сразу поняла, что нужно Сереге. Через минуту он

уже сидел за столиком и, покуривая длинную папиросу «Чапаев», непринужденно болтал со Светланой, стараясь не дышать в ее сторону:

— Мы сейчас снимаем новую картину из шахтерской жизни. Очень интересная штука получается, — говорил он, пуская над столом колечки дыма.

— Вы, конечно, играете главную роль? — громко спросила Светлана, чтобы слышали люди за соседними столиками.

Ей было приятно сидеть с артистом, разговаривать как с хорошим старым знакомым. Она только жалела, что сейчас ее не видят подружки из десятого «Б» класса. Они умерли бы от зависти.

Сергеа настолько вошел в свою роль, что даже родной матери было бы трудно разубедить его в том, что он вовсе не Переверзев, а ее сын Сережа.

— Жизнь артистов полна различных комбинаций и вариаций. Артист должен уметь делать все: рубить уголь, ловить рыбу, пить вино, любить... В новой картине я играю роль шахтера, влюбленного в хорошую девушку, — самозабвенно сочинял он.

— Как ее звать? — поинтересовалась Светлана, искренне веря во все, что мелет ей Серега.

— Светлана, — не моргнув глазом, соврал Криница. — Она очень красивая и умная, у нее серые глаза, большие ресницы. Впервые я познакомился с ней в парке. На ней было платье в красный горошек. Я пригласил ее выпить шампанского, а потом пошел провожать домой. По дороге встретился ее поклонник, и мы с ним подрались.

Светлана поняла, что ее новый знакомый играет, на ходу сочиняет сюжет картины.

— Мне кажется, у вашей героини не было поклонника, — кокетливо улыбнулась девушка.

— Был!

— Не было!

— Был! — настаивал Серега. Ему не верилось, что у такой девушки, как Светлана, нет знакомого парня. И если он сегодня встретится где-нибудь и начнет приставать, то непременно получит. Это Серега решил твердо.

— Не было, — доказывала Светлана.

— Не было так не было, — сдался наконец Серега. — Это даже лучше.

Когда вышли из буфета, Криница попросил у Светланы разрешения проводить ее домой. Девушка не возражала. Она только, улыбнувшись уголками губ, заметила:

— Как в новой картине?

Сереге промолчал. Они медленно шли по центральной аллее, думая об одном и том же. Криница мучительно решал: взять девушку под руку или нет, а Светлана ждала этого, гадала словно на ромашке: возьмет не возьмет, возьмет не возьмет...

В голове у нее немного шумело от выпитого вина. Хотелось смеяться.

— А вдруг сейчас появится поклонник? — озорно спросила она.

Сереге усмехнулся и решительно взял спутницу под руку.

«До самого дома не отпущу», — твердо решил он, сжимая маленький острый локоток.

В конце аллеи его внимание привлек силовой аттракцион. Около высокой планки с делениями толпились мужчины. Один из них стукнул кулаком по тряпичной голове фашиста — и вдоль планки скользнул вверх квадратик с пистоном. До конца планки он не достал.

— Слабак, — засмеялся какой-то парень, — дай-ка я попробую.

— Пожалуйста, молодой человек, — пригласил его старичок-аттракционщик.

Парень раздал плечи, размахнулся и опустил кулак на лысую макушку фашиста. Квадратик подпрыгнул, но пистон остался цел.

Вокруг снова рассмеялись.

— А ну-ка, дай я, — раздвинул Сереге плечом толпу и очутился около тряпичной головы. Ему очень хотелось доказать Светлане, на что он способен.

— Удар — двадцать копеек, — напомнил аттракционщик.

— На все, — бросил Криница, протягивая старичку рублевку. Красешком глаза он наблюдал за Светланой. Девушка весело улыбалась ему, подбадривая. Широко расставив ноги, Сереге подтянул рукава пиджака, чтобы сподручнее было бить, и, собрав все силы, резко опустил кулак на голову чучела. Квадратик метнулся вверх. Послышался треск разбитого пистона. Запахло дымком.

— Есть у парня силенка, — слышалось из толпы.

Серегина рублевка не пропала даром. Пять раз бил он по фашистской голове, и пять раз стреляло на конце планки. Пять раз ахала толпа.

— Вы так у меня все боеприпасы израсходуете, — пошутил аттракционщик.

— Ну, как? — спросил Серега у Светланы, снова беря ее под руку. Ведь для нее одной старался он сегодня. Ей одной хотел доказать, что никакие поклонники ему не страшны.

— Вы сильный, — похвалила его девушка.

Серега только хмыкнул и подумал: «Посмотрела бы ты, как я уголь в шахте рубая».

Светлана жила недалеко от парка, и Серега пожалел, что так быстро они дошли до ее дома. Даже поговорить толком не успели. Прощаясь у калитки, Серега долго не хотел отпускать руку Светланы и даже попытался поцеловать девушку.

— Артисты, наверно, все такие? — обиделась Светлана и вырвала пальцы из горячей Серегиной руки.

— Какие? — удивился он.

— Нахальные.

Серега хотел возразить, но было уже поздно. Девушка скользнула в темный двор и захлопнула за собой калитку.

— Подождите, Светлана! — крикнул Серега и рванул за ней. Калитка была заперта.

— Светлана, — уже тише позвал Криница.

— Ну, что? — спросила она через щелку.

— Вы на меня обиделись?

— Немного.

— Давайте постоим еще.

— Уже поздно.

— Где же мы встретимся завтра?

Светлана молчала.

— Вы слышите?

— Слышу.

— Почему же не отвечаете?

Светлане впервые назначали свидание, и она не знала, что ответить.

— Вы слышите? — снова спросил Серега.

— Не знаю, — ответила девушка.

— Давайте встретимся на старом месте, — горячо предложил Серега.

— Хорошо.

— В семь часов вечера.

— Хорошо.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Сергея долго еще стоял у калитки. Он слышал, как легонько простучали во дворе каблучки босоножек, как скрипнула дверь в доме, как чей-то голос спросил:

— Почему так поздно?

«Отец, наверно», — подумал Криница, закуривая папиросу.

«Спокойной ночи!» — звучали в его ушах последние слова Светланы. Какой у нее хороший, певучий голос! И вся она такая хорошая и светлая. Недаром называли ее Светланой.

Нет, не будет сегодня у Сергея спокойной ночи. Ворочаться ему в постели, вспоминать серые глаза и полудетскую улыбку, маленькие руки с розовыми ноготками...

Стало стыдно за обман. Ну какой он, к чертям, артист! А Светлана поверила. Завтра обязательно надо сказать ей, что все это ерунда, что никакой он не артист, а простой горняк с шахты «Великан». Так-то будет лучше! Приняв это решение, Сергей вынул из кармана карточку Переверзева и тут же порвал ее на мелкие кусочки. Прощай, товарищ Переверзев! Завтра — воскресенье. Отработав смену, пойдет Сергей в парк, встретится со Светланой и скажет:

— Давайте знакомиться еще раз: Сергей Криница — донецкий шахтер.

Сергей рубил уголь и чувствовал, как во всем теле гудят молодые жилы. Пика отбойного молотка по самую шейку уходила в пласт, откалывала от него тяжелые глыбы угля. Черный резиновый шланг сильно дрожал на стойках, упруго извивался, как живой. Холодный сжатый воздух всюду шел по нему, отчего отбойный молоток на месте соединения со шлангом покрылся легкой изморозью.

Смена подходила к концу. «Помоюсь, пообедаю и — в парк», — думал Криница и уже представлял, как встретится со Светланой, как расскажет о своем обмане. А может быть, пока не надо говорить об этом? Еще обидится и уйдет. Может быть, девушка согласилась прийти на свидание потому, что принимает его за артиста? От этой мысли становилось обидно.

Вдруг прекратилась подача воздуха. Отбойный молоток бес- сильно замер в руках.

— Что за чертовщина? — выругался Серега, освобождая застрявшую в пласте пику.

Из соседнего уступа спустился Мишка Яровой.

— Энергию, наверное, в компрессорной отключили, — проговорил он, поудобнее устраиваясь на стойке. — В честь воскресенья пораньше на-тора поднимаемся.

Когда Серега с Яровым спустились в штрек, там уже было многолюдно. Шахтеры стряхивали с себя угольную пыль, громко переговаривались. Они еще не знали, что на поверхности их встретит страшное слово — «война». Они гомонили в штреке, а война уже стальной лавиной танков катилась по советской земле, сжигала созревающие хлеба.

Стиснув зубы, слушали шахтеры правительственное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Безмолвной стеной стояли они под репродуктором.

Стихийно возник митинг. Не было на нем ни стола, накрытого красным сукном, ни трибуны, ни графина с водой. Гневом сверкали глаза людей, сжимались кулаки.

— Узнают проклятые фашисты, где раки зимуют! — выкрикивал Мишка Яровой. — Добровольцами пойдём! Почувствуют фашисты, как с шахтерами дело иметь!

— Составляй список! — первый поддержал Ярового Криница и невольно подумал о Светлане.

Первым в список добровольцев Яровой записал себя, а потом уж Серегу Криницу.

Помывшись в бане, друзья пошли в столовую. Хотели выпить, но водки ни в одном магазине не оказалось.

Война. Она громыхала где-то далеко-далеко, но ее дыхание уже чувствовалось повсюду. Суровыми стали лица людей, исчезли улыбки, смолкла веселая музыка. Из репродукторов гремели марши.

О свидании со Светланой Криница промолчал.

— Ты куда? — спросил Мишка, когда Серега в половине седьмого собрался уходить из общежития.

— Я скоро вернусь, — проговорил он.

— Жди...

Несмотря на прекрасный летний вечер, в парке почти не было людей. Старичок-аттракционщик одиноко сидел около своего хитрого механизма. Уродливая фашистская голова бессмысленно

смотрела вдаль аллеи своими круглыми мертвыми глазами. Старичок узнал Серегу.

— Может быть, для почина стукнете? — спросил он скрипучим голосом.

Размахнувшись, Серега опустил кулак на лысину фашиста. Громко прозвучал в пустой аллее хлопок разбитого пистона, денег за удар старичок не взял: почин — дороже денег.

Ровно в семь на аллее показалась Светлана. Она была в том же платье, только на ногах вместо босоножек белели туфли на высоком каблуке. Серега обрадованно пошел к ней навстречу.

— Я думала, вы не придете, — пропела она.

— Давайте посидим, — предложил Сережа и сразу же заговорил о войне. Он ругал фашистов, доказывал, что наши войска радуют их в два счета.

Светлана молча слушала его, чуть покачивая головой.

— А вас возьмут на фронт? — спросила она и пристально посмотрела на Сергея. Глаза у девушки сегодня были темные, не плавали в них вчерашние голубинки.

— Наверное, возьмут, — нерешительно ответил Серега.

Светлана вздохнула. Потом они долго бродили по пустым аллеям парка, но сказать девушке правду Криница так и не решился. Около калитки, захлопнувшейся вчера перед самым носом Сергея, Светлана нерешительно попросила:

— Подарите мне на память вашу карточку.

— У меня нет с собой, — увильнул Криница, — но если хотите...

— Очень хочу, — ответила девушка и, не дослушав его, вынул из сумочки карточку Переверзева.

Серега повертел ее в руках, всматриваясь в темноте в знакомые черты артиста.

— Подпишите, — попросила Светлана.

Что же написать тебе, милая девушка? Снова обмануть тебя?

Серега нерешительно вынул из кармана ручку, стряхнул чернила.

Светлана ждала. Криница хорошо видел, как блестят в темноте ее глаза, как мнут пальцы плетеную ручку сумочки.

— Хорошо, — сказал он и, приложив карточку к калитке, написал прямо на лицевой стороне: «На добрую память Светлане от донецкого шахтера Сергея Криницы».

Немного подумав, добавил: «Смотри и помни».

Пятый месяц отступает взвод лейтенанта Барсукова. Пятый месяц бушующий океан войны крутит эту песчинку в водоворотах сражений, швыряет из огня в полымя. От пограничной речушки до широких донецких степей докатилась она и залегла на склоне глубокой балки. Надолго ли? Позади остались пылающие города и села, Днепр, розовый от крови, холмики братских могил. Из тех, кто отражал первый удар врага, во взводе почти не осталось никого. Несколько раз взвод пополнялся. Обычно это происходило ночью.

— Принимай пополнение! — кричал командир батальона и показывал Барсукову на новеньких бойцов, только что прибывших из тыла. Они робко жались друг к другу, шинели неуклюже топорщились на их спинах. Прислушиваясь к гулу артиллерии, втягивали головы в плечи, ждали, что им прикажет лейтенант. Среди бойцов были люди разного возраста: и совсем юнцы, и люди, много повидавшие на своем веку.

Барсуков всматривался в их лица и почти безошибочно угадывал биографию и характер каждого.

Стоит в строю пожилой боец. Глубокие морщины избороздили его обветренное лицо. Этот успел и поработать и покачать детишек на коленях. Этого не нужно учить стрелять. На войну он пришел как на работу, а на лейтенанта смотрит как на колхозного бригадира.

Пятый месяц отступает взвод Барсукова. Пятый месяц бесчинствует на земле война. Бронированные полчища врага рвутся к Москве и Ленинграду.

А что с женой? Где она? Барсуков твердо знал, что из пограничного городка, где жили они с Леночкой, никому из гражданского населения вырваться не удалось.

...Несколько дней на фронте стоит сравнительное затишье. Изредка только грохнет где-нибудь снаряд да прострекочет пулеметная очередь или повиснет над передним краем немецкая ракета. Затишье пугало. Значит, немцы готовят новый удар, накапливают силы для решительного броска на Донбасс.

Хорошо была видна с наблюдательного пункта и линия обороны противника. Она проходила вдоль дороги, терялась среди домов небольшого поселка. Барсуков приложился к стереотрубе.

Перед глазами запрыгали добротные накаты вражеских укреплений, присыпанные свежей глиной, черные глазницы амбразур. Одна за другой они брызнули огнем, и пули засвистели рядом. Ординарец Барсукова Вася Перепелкин инстинктивно прижался к стене, по-детски заморгал светлыми глазами.

— А ну-ка, звякни артиллеристам, — приказал ему Барсуков, удобнее устраиваясь у стереотрубы.

— «Аэлита»! «Аэлита»! Я — «Земля»! Я — «Земля»! — закричал парнишка в телефонную трубку.

«Аэлита» отозвалась. Барсуков видел, как по веснушчатому курносому лицу ординарца расплылась счастливая улыбка.

— Цель номер три! Левее ноль пятнадцать! — скомандовал лейтенант и снова посмотрел на ординарца.

С той же улыбкой повторил Перепелкин в трубку команду Барсукова.

В стереотрубу было хорошо видно, как далеко за вражескими дзотами вырос дымный кустик разрыва. Перелет.

— Правее ноль двадцать! — приказал Барсуков.

— Правее ноль двадцать! — отчеканил Перепелкин, стараясь придать голосу грозность, а команда у него прозвучала как-то нежно и задушевно.

Второй снаряд разорвался перед дзотом. Пулемет в нем на мгновение замолчал, а потом застрочил с новой силой.

Третий снаряд разорвался возле самой амбразуры. Вместе с землей во все стороны полетели обломки бревен. Следующие четыре снаряда разворотили его до основания. На месте дзота дымилась глубокая воронка.

Артиллерия противника почему-то молчала.

Когда вернулись в блиндаж, Барсуков спросил у ординарца:

— Почему это ты, когда с артиллеристами разговариваешь, как майская луна сияешь?

Перепелкин немного смутился и вместо ответа наивно спросил:

— А разве заметно?

Барсуков рассмеялся. Рассмеялись и другие бойцы, бывшие в блиндаже.

— Военная тайна, товарищ лейтенант, — подмигнул Серега Кришца.

Никто во всем взводе не знал, почему счастливо улыбается ординарец, разговаривая по телефону с артиллеристами, а Серега

знает. Поделится с ним Василий Перепелкин своей тайной в минуты затишья, когда стояли еще на Днепре.

Звездная ночь плыла над рекой, звездная и тихая, как будто не было на земле войны. Вася задумчиво смотрел в небо, покусывая сухую былинку.

— Звезды считаешь? — спросил у него Серега.

Перепелкин промолчал, а когда маленькая звездочка скользнула по темному небосводу и погасла где-то за темной кромкой прибрежного лозняка, вдруг заговорил тихо, будто сам с собой:

— Говорят, у каждого человека есть своя звездочка. Умрет человек — и погаснет она в небе.

— Сказки все это. Если бы это было действительно так, то давным-давно погасли бы все звезды, — возразил Серега.

А Перепелкин продолжал говорить:

— Вот горит над нами маленькая красная звездочка. Это Марс. Говорят, на нем люди живут. Я даже книжку об этом читал. «Аэлитой» называется.

Серега впервые слышал о такой книге и поэтому спросил:

— Интересная, наверно?

— Хочешь, расскажу, — предложил Василий.

— Валяй, — охотно согласился Криница. Он любил слушать рассказы о путешествиях и приключениях.

Чем дальше рассказывал Василий, тем зримее вставал перед Серегой образ далекой пепельноволосой марсианки Аэлиты. Она и сейчас еще, наверное, живет на своей умирающей планете и тоскует о земной любви. Живет и не знает, что на земле идет война, что лежат сейчас на сырой земле два русских паренька в солдатских шинелях и говорят не о войне, а о далеких звездах, о любви.

— А ты знаешь, Аэлита на мою девушку похожа, — обрадованно проговорил Серега и рассказал Перепелкину о том, как познакомился со Светланой, как провожала она его на фронт.

— Вот посмотри, — засуетился он, доставая из кармана гимнастерки карточку Светланы, подаренную в день отъезда.

Ярко светила луна. Под ее лучами на глянцевой бумаге засеребрилась скромная девичья прическа.

— Похожа, — согласился Перепелкин, возвращая карточку.

Василию нечем было похвалиться. Нет и не было у него девушки, похожей на Аэлиту. И на фронт его провожала только старуха-мать.

Не успел парнишка влюбиться, не успел найти свою Аэлиту. Живет она где-то на земле, дышит, смеется, плачет...

За рекой отрывисто, как цепная собака, пролаял чужой пулемет. Огневая строчка трассирующих пуль прошла над темной водой и погасла где-то в прибрежных зарослях.

— Стреляют, сволочи, — выругался Серега, пряча карточку в карман.

А Перепелкин, глядя в небо, продолжал тихо говорить:

— Ты счастливый. Аэлита говорила, что люди, познавшие любовь, не умирают.

— Ну, это ты загнул, — возразил Серега. — Пуля, брат, дура. Ей все равно кого в лоб стукнуть. Может быть, на Марсе пули разборчивее, а на Земле они, проклятые, без разбора людей косят. Сам видишь.

Не слушая возражений Криницы, маленький ординарец мечтал вслух:

— Когда-нибудь люди полетят на Марс, обязательно полетят. Проплывут по его каналам, привезут на Землю марсианских цветов.

— Чудак ты, Василий, — тихо рассмеялся Серега. — Кругом война, а ты о каких-то марсианских цветах мечтаешь.

— А ты о чем?

— О том, чтобы скорее фашистов разбить. Живым домой вернуться.

— Об этом сейчас все думают.

На рассвете дрогнуло небо, зашаталась земля. Погасли в дыму звезды. Сотни немецких орудий обрушили шквал огня на узкую полосу нашей обороны.

И снова отступил взвод. Снова пылила под ногами разбитая дорога. Снова першило в горле от обиды и порохового дыма. Снова с немим упреком смотрели в глаза отступающим скорбные женщины.

Когда на горизонте показались серые пирамидки терриконов, сердце Криницы болезненно сжалось. Не думал он, что враг прорвется так далеко. В стороне горел захваченный фашистами родной город. Дымные крылья пожаров трепетали над ним. Серега до боли в пальцах сжимал автомат, затуманенными глазами смотрел на это печальное зрелище. Там, в огне и пламени, остались его юность, его первая любовь, его земная Аэлита — Светлана.

— До каких пор отступать будем? — кричал он и страшно ругался.

— Не психуй! — оборвал его Барсуков. — Злее станешь.

И Серега стал злее. Кроме ненависти к врагу, в его душе ничего не осталось. Этот пожар выжег все другие чувства. Серега с остервенением копал землю, выкладывал камнем амбразуру, будто строил блиндаж не на одно сражение, а на века. Криница будет стоять здесь насмерть, не отступит, если немцы бросят на него одного даже целый батальон.

— Передохнем малость? — предложил ему работающий рядом Перепелкин. — Перекурим?

Развязав кисет, он сыпнул в ладонь Сергею щепотку крупитчатой махорки. Криница бережно ссыпав ее на клочок газетной бумаги, начал крутить сигарку.

— Возьми-ка, парень, другую, — предложил Сереге Семен Ткачук. — Махорка в чистой бумаге лучше горит. От краски она вкус теряет.

— Мне все равно.

— Нет, не все равно. А ты старших слушай. Давай-ка сюда твою бумажку. На портретной курить вредно.

Снова зазвенели лопаты.

Потом Перепелкин с лейтенантом ходили к артиллеристам. Барсуков о чем-то говорил в блиндаже с комендантом батареи, а Василий от нечего делать бродил по огневой позиции. На снаряде сидела девушка в длиннополой солдатской шинели и что-то читала. Из-под аккуратной пилотки на чистый лоб девушки выбивалась светлая прядка волос. Она была так увлечена чтением, что не заметила, как подошел к ней молодой незнакомый солдат.

Василий кашлянул. Девушка оторвала взгляд от книги и смущенно улыбнулась.

— Читаете? — растерянно спросил Василий.

Девушка кивнула головой и закрыла книгу. Это была «Аэлита» Алексея Толстого.

Перепелкин страшно обрадовался встрече с любимой книгой. Ему даже показалось, что и девушку в солдатской шинели он знает давным-давно, хотя она ни капельки не похожа на Аэлилу. Маленькая, розовощекая с большой родинкой над густой бровью, она была больше похожа на его сестру Веру. Может быть, поэтому разговаривать с ней сразу стало легко и просто. За несколько

минут Василий узнал, что ее зовут Раисой, что она телефонистка батареи, что в Киеве у нее остались папа с мамой и маленький братишка Витька. За это же время она узнала и коротенькую биографию Васи Перепелкина.

Пролетел немецкий самолет-разведчик, но они, увлекшись разговором, даже не обратили на него внимания. Им было хорошо вдвоем. Хорошо, как только бывает в юности.

— Перепелкин, пошли! — крикнул, выходя из блиндажа, Барсуков.

Если бы только он знал, как не хотелось уходить с батареи его ординарцу! Если бы видел, как хорошо Васе Перепелкину сидеть рядом с девушкой, то, может быть, задержался бы он в блиндаже командира батареи, поговорил бы с ним еще о чем-нибудь! Но лейтенант не знал этого.

— Перепелкин! — еще раз сердито крикнул он.

Василий нехотя поднялся со снаряда и, сам не зная почему, назвал девушку марсианским именем.

— До свидания, Аэлита, — выдохнул он и побежал на зов лейтенанта.

Вернувшись в блиндаж, он обо всем рассказал Сергею Крипце.

— Поздравляю! — только и сказал тот. — Люди, познавшие любовь, не умирают.

На другой день позывные артиллерийской батареи сменились.

— Я — «Аэлита»! Я — «Аэлита», — звенел в телефонной трубке девичий голос.

— «Аэлита», я слышу тебя. «Земля» слышит тебя! — отвечал молодой ординарец и счастливо улыбался.

Он верил, что люди, познавшие любовь, не умирают.

Последние координаты

Немецкая артиллерия остервенело обрабатывала передний край нашей обороны. Засыпанные землей, оглохшие, ждали бойцы, когда кончится артиллерийская подготовка и противник ринется в атаку. Ждать пришлось недолго.

— Идут, — шепнул побелевшими губами Перепелкин и кивнул головой на равнину.

Десятка два танков, легко подпрыгивая на гусеницах, ныряя

то вверх, то вниз, мчались на полной скорости к противоположному рву. Следом за ними, пригибаясь, бежала вражеская пехота. Строчили автоматы.

Ударил наша артиллерия, и степь покрылась черными фонтанами взрывов. Они вырастали перед танками, бугрились в рядах наступающих. Немцы падали и снова бежали за машинами, стараясь не отстать от них.

«Надо отсечь танки от пехоты», — мгновенно решил Барсуков и приказал открыть огонь. Затрещали пулеметы и автоматы. Серега Криница приник к пулемету и длинными очередями косил между танков по фигурам в мышинных шинелях. Он видел, как немцы залегли, начали пятиться назад. Приклад ручного пулемета больно бил в плечо, ходуном ходил в руках. «Как отбойный молоток», — невольно подумал Серега.

А танки продолжали лезть вперед. Один из них вполз на гребень балки и, круто развернувшись, помчался вдоль линии обороны прямо по окопчикам и стрелковым ячейкам. Семен Ткачук уже видел желтые кресты на броне и широкие траки гусениц, забитые липкой глиной. Рука потянулась к противотанковой гранате. Когда танк прогремывал в нескольких шагах, Семен метнул ему вслед гранату и упал на дно окопа, закрыв голову руками. Грохнул взрыв. Из-под низкого днища машины метнулся клуб огня, дыма и земли.

На правом фланге вспыхнул еще один танк. Немецкая пехота яростно строчила из автоматов.

— Не пройдет, гады! — кричал Барсуков и, тщательно целясь, стрелял, стрелял, стрелял...

А вдали уже вырастала вторая волна танков и пехоты. Видимо, немцы решили во что бы то ни стало прорвать линию нашей обороны. Железная волна катилась через степь на истерзанные окопы и блиндажи, и казалось, никакой силе не остановить ее.

Волна все ближе и ближе. Сталь. Грохот. Огонь. Смерть.

— «Аэлита!» «Аэлита!» — кричит Перепелкин и повторяет в телефонную трубку команду лейтенанта. Глаза у парня слезятся, голос срывается. В грохоте боя он почти не слышит собственного голоса. Валяется под ногами разбитая осколком стереотруба. Она уже не нужна больше лейтенанту: и без нее хорошо видно поле боя и танки, мечущиеся среди взрывов.

Подкрепление подбодрило немцев. Они снова бросились к око-

пам. Барсуков видел, как фашисты прыгали в них, как началась рукопашная схватка. Мелькали штыки и приклады, лопались ручные гранаты. Расстреляв все гранаты, Серега Криница схватил ручной пулемет за ствол и орудовал им, как палицей.

Два танка шли прямо на наблюдательный пункт. Барсуков почувствовал, как подступает к горлу тошнота. Поборов ее, он мельком взглянул на ординарца и выкрикнул новые координаты. Василий вздрогнул: на этих координатах находился он с лейтенантом.

Барсуков заметил это и, отвернувшись, чтобы не видеть испуганного взгляда ординарца, повторил команду.

«Я не могу!» — хотел возразить Перепелкин, но гул приближающихся танков подхлестнул его и, не раздумывая больше, он крикнул в трубку последние координаты.

— Прощай, Вася, — грустно сказал лейтенант и крепко поцеловал своего маленького веснушчатого ординарца в губы. — Понимаешь, прощай...

Последних слов Василий не расслышал. Они потонули в гуле танков и грохоте снарядов. И только телефонная трубка продолжала хрипеть:

— «Земля!» «Земля!» Ты меня слышишь? Я — «Аэлита!» Я — «Аэлита!»

Но напрасно звала «Аэлита». Ее уже никто не слышал.

Молчала земля, покрытая глубокими воронками и обломками стали, перемешанная с человеческой кровью...

Как быстро летят годы. Летят в блеске солнца, в малиновых зорях, в свисте осенних ветров, в шелесте золотого листопада, в грозах и метелях.

...У степной дороги стоит невысокий обелиск с пятиконечной звездой, вырубленной кем-то из листового железа. На сером известняке высечены имена:

Петр Барсуков — лейтенант.
Василий Перепелкин — рядовой.
Сергей Криница — рядовой.
Семен Ткачук — рядовой.

Идет по степи весна. Идет, спешит, словно озорная девчонка на свидание. Солнечная улыбка играет на ее лице. Зеленые ленты

трав переливаются в темных косах, небесная голубизна плавает в больших бездонных глазах.

Вечерами, когда в небе вспыхивают первые звезды, замирает степь. Каждой травинкой, каждым лепестком прислушивается она к перестуку молодых сердец, к шепоту горячих губ:

— Любишь?

— Люблю...

— У нас будет сын...



Олег Селянкин

ТОВАРИЩ КОМИССАР

Все было точно так, как и всегда: и темная ночь, спрятавшая переправу от вражеских самолетов, и матросы, и солдаты, грузившие на катера ящики со снарядами, минами и патронами. Даже командиры связи и различные порученцы точно так, как и вчера, спешили куда-то, задавали самые нелепые и ненужные сейчас вопросы, вроде:

— Получена махорка для личного состава?

Неужели обо всем этом нельзя спросить завтра, когда дивизион вернется на базу? Разве легче будет катерам прорываться в Сталинград, если этот старший лейтенант именно сейчас запишет в своем блокноте, что из-за нехватки людей катера идут в бой с неполным личным составом?

Давайте поговорим обо всем этом завтра. Сейчас, когда до боя считанные минуты, честное слово, у всех воюющих другие заботы.

Еще вчера командир дивизиона катеров-тральщиков капитан третьего ранга Первушин более или менее спокойно отвечал на все вопросы, а сегодня не может. Все обычно — и в то же время нет чего-то. Будто частицы тебя самого нет.

Сегодня Первушина все злит. Поэтому он хмурится, на вопросы отвечает односложно и нетерпеливо поглядывая на ручные часы, подарок наркома за Финскую кампанию.

Первушин высок, широк в плечах. Он не в шинели, как другие командиры, а в полушубке с поднятым воротником, отчего кажется выше и сильнее всех. Невольно думается, что он даже имеет право на эти лаконичные ответы. И командиры связи и порученцы стараются побыстрее отойти от него.

Наконец оборвалась цепочка людей с ящиками на спине, и на мостки взбежал молоденький лейтенант, козырнул и отпрапортовал:

— Погрузка закончена, товарищ комдив!

— Окончена, говоришь, — сказал Первушин и посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, так ли это.

Ночь была темная, без единой звездочки, и командир дивизиона мог видеть лишь людей, стоящих около него, но этот взгляд по сторонам — привычка; в эти секунды командир дивизиона мысленно проверяет, все ли необходимые приказаны отданы, все ли сделано, без чего потом, в бою, взвоешь.

И вдруг глаза задержались на старшем политруке. Он появился здесь минут... Командир дивизиона взглянул на часы и отметил, что сегодня от боевого задания погрузка украла только двадцать минут. А старший политрук пришел, когда она только началась. Значит, он здесь минут восемнадцать или пятнадцать. Вспомнился и разговор с ним.

— Разрешите обратиться? — сказал старший политрук.

— Позднее, — ответил он и пояснил; — Занят.

С тех пор и ждет старший политрук. «Видать, дисциплинированный, привык с начальством не спорить», — подумал Первушин с неприязнью. Кроме того, ему стыдно за свою забывчивость, и он сказал, не скрывая раздражения:

— Слушаю вас, товарищ старший политрук.

— Я прибыл...

— Вижу.

Показалось или действительно усмехнулся старший политрук? Однако продолжал он по-прежнему спокойно:

— ...на должность вашего заместителя по политической части.

Утром умер от ран Павел, а сейчас уже на его место явился этот!

Раздражение и обида за Павла поднимаются, сжимают горло, и командир дивизиона, с трудом сдерживая себя, говорит сухо:

— Считайте, что вступили в должность... Сейчас идем в бой, разговоры придется отложить. — И тут не смог сдержать досады. — Быстро же вас прислали.

— Разве плохо, что быстро? — будто не заметив злости командира, спросил старший политрук.

Командир дивизиона круто повернулся и зашагал по мосткам, поскрипывающим и прогибающимся под его тяжестью. Когда перешагивал через леера, заметил, что старший политрук прыгнул на соседний катер. Это понравилось, но он откинул воротник полушубка и заставил себя не думать ни о смерти Павла, с которым бок о бок воевал полтора года, ни о новом своем заместителе. Иначе нельзя: впереди ночь работы на переправе через Волгу, впереди много рейсов в осажденный город, над которым висят осветительные бомбы, на подходах к которому враг встретит дивизион снарядами, минами и пулеметными очередями. Главное сейчас — выполнить задание, а личное... Эх, Павел, Павел... Что ж, придется извиниться за неласковый прием, если этот обиделся...

А произнес спокойно и властно, как всегда:

— Всему дивизиону сниматься с швартовых.

2

Командир катера-тральщика видел, как незнакомый старший политрук прыгнул на катер. Однако не окликнул его, не вышел на рубки, чтобы проверить документы: когда корабль отходит от

берега, вся команда стоит на боевых постах, а его личный пост — в рубке, рядом с рулевым. Кроме того, этот старший политрук только что разговаривал с комдивом, значит, знакомый или его приказание выполняет. Военный корабль — не трамвай, куда за- просто всякий прыгнуть может.

Конечно, документы проверить надо будет, но это успеется и чуть позже, когда катер отойдет от берега.

Однако старший политрук сам вошел в рубку, протянул раскрытое удостоверение и сказал:

— Старший политрук Векшин. Новый заместитель комдива по политчасти.

Голос у него бархатистый, спокойный.

Мичман включил фонарик, прочел удостоверение, потом перевел луч на лицо старшего политрука, Точно такие, как на фотокарточке, зачесанные назад волосы, серые глаза и круглые, налитые щеки. Только ямочек сейчас на них нет, как на фотокарточке. Видать, хорошее настроение было, когда фотографировался.

— Мичман Ткаченко, — в свою очередь представился командир катера. — Особые приказания будут?

Векшин сейчас не хотел ни во что вмешиваться, он искренне считал: ничто так не вредит любому делу, как обилие начальников. В этом он имел возможность убедиться, когда сам был еще матросом. И поэтому ответил:

— Действуйте так, будто меня нет.

— Слушаюсь, — козырнул мичман и нахмурился. Он двенадцать лет прослужил на флоте, всякого начальства насмотрелся и терпеть не мог, когда кто-нибудь стоял за его спиной: простачком иной такой начальник прикидывается, вроде бы и в стороне он, а сам советы так и сыплет! Успевай собирать. Или, что того хуже, разразится приказами, хотя отдавать их здесь имеют право лишь он, мичман, и его непосредственные начальники.

А этот, видать, хитер, притворяется, будто рассматривает рубку. А чего ее разглядывать? Что в ней мудреного? Фанерная будка с большим смотровым окном впереди.

— Почему переднее стекло не поднято?

Ишь, уже вцепился!

Но ответил мичман спокойно:

— Нам оно не мешает.

— Разобьется — вас же осколками поранит.

И неожиданно ловко старший политрук поднял стекло, прицепил к козырьку рубки.

Командиру катера и рулевому стало сразу ясно, что замполит морское дело не по учебнику знает. Это обрадовало: значит, с пониманием к морской службе, значит, не должен быть буквоедом.

Командир катера даже намеревался спросить, откуда он и где служил, но катер уже вынырнул из-за острова, разрезающего реку на два рукава, и сразу вблизи звонко разорвалась мина — фашисты заметили катер. Тут уж не до разговоров: только следи за водяными столбами, вздымающимися на реке, только успевай от них отворачивать.

Катер то стопорил ход, то так бросался вперед, будто хотел выскочить из воды. Или круто ложился на борт. Тогда вода, казавшаяся дегтярно-черной, пенилась вровень с палубой, и катер дрожал от напряжения.

— Нагрузочка на пределе, — опять заметил замполит.

— Меньше брать никак нельзя...

— Побольше ящиков сунули бы в кубрик — вот и порядок, — перебил замполит.

— Время потеряем при разгрузке.

— Зато больше шансов, что не перевернется катер.

Мичман в душе был согласен, но сознаться в этом мешало самолюбие, и он молчал. Молчал и замполит, он уже проклинал себя за язык: ведь хотел же первый рейс сходить просто пассажиром!

Выручил рулевой, он доложил:

— Вижу сигнальный огонь!

Мичман тоже видит короткие вспышки. Это солдаты сообщают, что к приему груза готовы и просят пристать здесь.

— Подворачивай!

Вот он, город, в котором почти два месяца идет непрерывный бой. Нет домов. На береговом обрыве торчат только их дырявые стены. Нет и улиц, прямых, просторных. Их перегородили перевернутые трамваи и развалины зданий.

Берег, куда приткнулся катер, весь изрыт воронками от бомб и снарядов. Кажется, здесь так много упало металла, что не должно уцелеть ни одного человека. Но люди есть. Они пережили неистовые многочасовые бомбежки, артиллерийские обстрелы, от которых подрагивала земля даже на левом берегу Волги, отражали танковые атаки и цепко держатся за эту землю. Вот они, эти

люди, вылезают из щелей, канализационных колодцев, из-под развалин домов и бегут к катеру.

С носа катера сброшен узенький трап. Он прогибается, потрескивает, но солдаты и матросы не замечают этого. Они торопливо взбегают по нему на катер и, взвалив на спину тяжелый ящик, осторожно сходят на берег. Непрерывно движется вереница людей, хотя мины то и дело рвутся рядом.

В этой веренице, со снарядным ящиком на спине, и старший политрук Векшин. Он ничего никому не приказывал, он работал наравне со всеми, но мичман, который сейчас один стоял в рубке, видел, как ему уступали дорогу, как осторожно клали на спину очередной ящик. Это было уважение к старшему, который мог бы не прийти, но пришел на помощь.

Утащили на берег последний ящик — немедленно, прижимая к груди перебитую руку, пошел по трапу раненый. Ослабел солдат от боли и потери крови, покачнулся и упал бы в воду, если бы не поддержали его.

— Два человека с наметкой — ко мне! — кричит старший политрук.

Наметка — шест, которым измеряют глубину. Теперь два матроса — один на катере, другой на берегу — держат наметку параллельно трапу и на уровне пояса. Она стала перилами, о которые раненый может опереться.

Раненые идут, идут. Будто рождает их ночь. Они не просят, не умоляют перевезти их на левый берег. Лишь изредка услышишь стон. Или заскрежещет кто зубами.

Старший политрук Векшин с тремя матросами стоят по пояс в воде, принимают с берега тех, кто уже не может сам двигаться. И передают на катер.

Мичман Ткаченко спросил, когда катер сел ниже ватерлинии:
— Разрешите отходить, товарищ старший политрук?

Тот ответил просто:

— Командуй.

Снова впереди только чернота ночи. Город — за кормой. От него отошли километров на пять, и поэтому стрельба орудий доносится как глухие, тяжелые раскаты.

Старшему политруку сначала подумалось, что их катер один режет носом волны в этом районе. Только подумалось так — какой-то катер проскочил мимо. Его не видели, его почувствовали,

его угадали по крутой волне, которая неожиданно и задорно стукнула в борт.

Часто налетают волны и всегда неожиданно.

Старший политрук, мокрый по пояс, сидит на палубе катера среди раненых. Мичман слышит его голос:

— Никогда и никаким фашистам не сломить нашего народа. Любой с пупа сдернет, но не осилит нас!

Среди раненых оживление. И чей-то голос, подрагивающий от огромной боли:

— Сдохнут, а не осият... У Гитлера кила-то, поди, по земле волочится. Ишь, как кожилится, а мы все стоим.

Он так и сказал:

— А мы все стоим!

Сказал убежденно. Он и сейчас не считал себя окончательно выбывшим из строя. Он верил, что еще посчитается с врагами, сторицей отплатит им.

3

Во время второго рейса, чтобы не лезть к мичману с советами, старший политрук поднялся на крышу машинного отделения, где торчал крупнокалиберный пулемет — единственное оружие катера-тральщика. Если, конечно, не считать личных карабинов.

— Матрос Азанов! — представился пулеметчик.

По голосу ясно, что настроение у матроса нормальное. А ты, замполит, думал, что неуютно этому матросу одиноко торчать на открытой для всех пуль и осколков площадке.

Старший политрук осторожно коснулся пальцем дульного среза ствола пулемета.

— Не бойтесь, он не кусается.

— Так я же не зубы проверяю. Смотрю, нет ли затычки от сырости. Некоторые любят такие штуки.

И оба засмеялись, довольные собой и друг другом.

— Значит, настроение подходящее?

— Как положено, по уставу... У вас газетки не найдется?

— Темно же, ничего не увидишь. А на базе обязательно дам.

— Закурить бы.

— Курить? На посту?

— У нас, товарищ старший политрук, устав особый, кровью

писанный. На посту мы другой раз сутками стоим, так все это время и не курить?.. Загнешься! Не от пули фашистской, а без курева загнешься!

Высказался матрос Азанов и умышленно сосредоточенно начал протирать ветошью затвор пулемета. Он всем своим видом, каждым своим движением говорил: «И чего я попусту слова трачу? Разве вы поймете?»

Старший политрук сам был заядлым курильщиком, и после этого разговора он так захотел курить, что хоть волком вой. Одновременно в нем проснулось и озорство, то самое озорство, которое считал давно похороненным: неодолимое желание нарушить порядок. И он достал кисет.

— Курить в рукав умеешь? — только и спросил он.

— Детский вопрос!

Сидели на коробках с пулеметными лентами, курили тайком и молчали.

— Зайду, пожалуй, к мотористам, — будто советуется старший политрук, растирая о каблук окурок.

— Там запросто обалдеть можно, — кивает матрос.

4

Захлопнулась за старшим политруком крышка машинного отделения — в глаза ударил яркий свет электрической лампочки. Пришлось ненадолго зажмуриться.

Очень жарко: давно ли здесь, а по телу уже бегут струйки пота. Пахнет разогретым маслом, бензином. И мотор так тарахтит, что уши ломит.

А когда открыл глаза, увидел мотористов. Оба они стояли у муфты сцепления. Оба в синих комбинезонах, оба с темными от масла и железа руками. Но один из них — белобрысый, веснушчатый — смотрел с любопытством и настороженно, словно ждал, что старший политрук, как и большинство различных поверяющих, задаст какой-нибудь каверзный вопрос.

Зато второй, черный, как жук, держался спокойно и независимо. Как хозяин, которому ничего показать не стыдно.

— Командир отделения старшина второй статьи Фельдман! — прокричал он. — А вы новый комиссар?

— Замполит.

— А это от человека зависит, кем он станет.

Старший политрук не понял, что хотел этим сказать Фельдман, но обстановка не располагала к философской беседе, и он перескочил на то, что сразу бросилось в глаза:

— Почему стоите во весь рост?

— Устав, — пожал плечами Фельдман и добавил: — И не трусы.

— Ссылка на устав от лени придумана... Разве нельзя работать сидя?

Фельдман несколько секунд удивленно смотрел на замполита, потом показал рукой своему помощнику — присядь! Тот опустился на корточки. Сам Фельдман присел с другой стороны мотора, посмотрел на него, на машинный телеграф. Даже дотянулся до регулировки газа. Встал, выдвинул из угла ящик с инструментом, опустился на него, еще раз осмотрелся и, широко улыбаясь, поднял вверх оттопыренный большой палец.

Невольно улыбнулся и старший политрук. Через силу улыбнулся: мутило от паров бензина, духоты и грохота мотора. И он поспешил выбраться на палубу.

На обратном пути фашисты накрыли катер минами. Осколком одной из них ранило рулевого. И пришлось старшему политруку заменить боевого санитаря, пришлось накладывать повязки. Он же и сдал его санитарям, когда подошли к левому берегу.

Рулевого унесли. Именно тогда в рубку протиснулись мотористы с железными листами настила из своего отделения.

— Куда претесь? Ошалели? — набросился на них мичман.

— Комиссар велел, — лаконично ответил моторист.

А Фельдман, поставив оба листа к фанерной стенке так, чтобы они были вроде бы ее повторением, затараторил:

— Мичман, ты меня знаешь? Разве Фельдман трепач? Он всегда, если это нужно, говорит только правду! Что такое осколок? Мой папа сказал бы — презренный кусок металла. А я, его сын, отвечаю: осколок — ранение или смерть. Кто видел, чтобы Фельдман раскланивался с осколками? Клянусь Одессой, никто не видел! А ты знаешь, что такое поклясться Одессой? Так вот, стоим мы на постах, и вдруг является комиссар. Что он сказал? Похвалил за чистоту? Доказывал, что фашисты вторглись на нашу землю и их нужно вытурить? Нет, он назвал нас дураками! Он прямо сказал: «Неужели, Фельдман, мама родила вас таким

идиотом, что вы грудью ловите осколки?» Честное слово, моя мама не виновата!

— Ближе к делу, — нахмурился мичман.

— А я разве уклонился? Назаров, что ты ждешь? Может, тебе, детка, нужно сказать, чтобы ты принес сюда и остальные листы? Или, считаешь, этих хватит? Мы с тобой растянем их на всю рубку? Они резиновые?

К приходу старшего политрука вдоль всех стенок рубки, как броня, стояли листы палубного настила. Между ними и фанерой лежали спасательные пояса.

Сделай все это раньше, может, и уцелел бы рулевой?

5

Еще три рейса закончили благополучно. Если, конечно, не считать за чепе разбитые осколками фонари клотика и сорванный гафель. А сейчас, едва выскочили из-за острова, фашисты обрушили на катер не только огонь пушек, минометов и пулеметов, но и авиацию. Самолеты повисли над Волгой, прицепили к черному небу люстры — осветительные бомбы. Светло так, что видно каждую заклепку. Мичман покосился на старшего политрука, который вместо рулевого стоял у штурвала. Ничего, справляется. Конечно, Гольцов вел катер лучше, но и этот ничего. Даже повторяет команды мичмана, как и полагается по уставу.

Несколько раз звякнули листы палубного настила. Те самые, которые поставили у стенок рубки.

Пулеметные очереди с самолетов дырявили палубу, вздымали фонтанчики рядом с катером, мины и снаряды тоже старались впиться в него, а он по-прежнему рвался вперед, проскальзывал меж столбов воды или нырял от самолетов в дымовую завесу, поставленную бронекатерами. И с каждой минутой все слышнее становился бой. Сомнений не могло быть: в городе началось наступление. И поэтому никто не удивился, что едва катер ткнулся носом в берег, его сразу облепили солдаты, вошли даже в воду, чтобы сподручнее было работать.

По трапу идут раненые. Их необычайно много — с осунувшимися лицами, обмотанных бинтами.

Наконец старший политрук сказал:

— Все, катер переполнен.

Оборвался поток раненых. Взвыл мотор, винт поднял со дна ил. А катер даже не шелохнулся. Будто вмерз в дно Волги.

Несколько раз переложил мичман руль с борта на борт, резко менял ход с полного вперед на полный назад. Не помогло. Тогда вышел на палубу и сказал, стыдясь своих слов:

— Может, сгрузим часть раненых? Катер облегчится.

Все катера дивизионов сегодня работают на переправе. Все они ходят по одному маршруту. Только с интервалом. Может, действительно, оставить часть раненых другому катеру?

— Нельзя, мичман, — за всех ответил старший политрук. — Для раненого минута ожидания...

Замолчал старший политрук. И так всем стало ясно, что пока подойдет следующий катер, окончательно ослабеет кое-кто из раненых.

И психику человека учесть надо. Легко ли ждать? Часами покажутся минуты.

А Фельдман уже кричит:

— Кто купаться — ныряй!

Он прыгает в воду, упирается плечом в борт. Одному нечего и думать сдвинуть катер, но рядом уже багровеют от натуги товарищи, старший политрук и незнакомые солдаты, прибежавшие с берега.

Неистово завывает мотор. Из-под винта вырывается взбешенная вода. Люди напряглись — дальше некуда...

Катер дрогнул!

— Пошел, пошел! — кричит Фельдман.

— Ходом, ходом! — вторят многие хриплые от напряжения голоса.

Чуть шевельнулся катер, и вдруг сразу рванулся от берега. Так стремительно рванулся, что кое-кто не удержался на ногах и окупнулся с головой. А ведь октябрь — не июль, и Волга — не Черное море. Однако никто не жалуется.

Уже на катере старший политрук спросил:

— Ты, Фельдман, член партии?

— Бе-пе.

— Странно.

Вот и весь их разговор. Но Фельдман понял, что это действительно очень странно. Или он, Абрам Фельдман, не согласен с партией? Может, у него с ней разногласия?

Нет у Фельдмана разногласий с партией. Он бы себя на седьмом небе чувствовал, если бы мог ответить:

— Коммунист с тысяча девятьсот... года!

Почему же не вступил, не подавал заявления? Все готовился... До смешного глупо: награжден орденом Красной Звезды, люди его считают коммунистом, а он все готовится!

Ша, Абрам Фельдман, ша! Мама родила тебя не таким безнадежным идиотом, чтобы тебе дважды указывали на ошибку!

6

Разрывы снарядов и мин окружили катер. Осколками в нескольких местах пробиты и спасательные пояса, и листы палубного настила. Непрерывно строчит пулемет: Азанов расстреливает осветительные бомбы, висящие над рекой. Но только рассыплется желтыми слезами одна — тотчас вспыхивает несколько других.

Все небо исчерчено трассами, искрится от взрывов зенитных снарядов. А самолеты все ходят, ходят. Иногда спускаются так низко, что видны их силуэты. Самолетам не страшен огонь с катеров: мало на катерах крупнокалиберных пулеметов, а скорострельных пушек и вовсе нет.

Стеной встают разрывы перед носом катера, однако он не отворачивает, словно не видят их ни старший политрук, ни мичман. Нет, они прекрасно все видят. Но что им остается делать? Разрывов такое множество, что не знаешь, как и куда маневрировать. Одна надежда на спасение — густая дымовая завеса. Только дотянуть бы до нее!

За несколько последних минут старший политрук осунулся, спал с лица, щеки его пообмякли. Мичман заметил даже и то, что он наваливался на штурвал — «брюхом рулит», как говорят моряки. И все же не делает замечаний, не находит в этом ничего позорного: с любым человеком, впервые попавшим в такую передрягу, конфуз может случиться. Кроме того, это тебе не парад, где выправка и внешний вид — главное всего. Здесь война. Здесь смертный бой.

Вдруг катер будто зарылся носом в волны, завяз в черной воде. Лишь зыбь покачивает его. Да за рубкой ярится пулемет Азанова.

— В машине! Что случилось? — спрашивает мичман в переговорную трубу.

— Вода заливает! Страсть как хлещет!

Отвечает Назаров. А где же Фельдман?

Но спрашивать об этом некогда: из кубрика уже лезут раненые. Главное сейчас — пресечь панику, и мичман орет:

— Марш обратно!

Раненые еще недавно не были трусами. Но катер для них место новое, непривычное. Вот и боязно. А тут еще и вода из-под сланей пошла. Разве усидишь? Когда ты ранен, когда твоя жизнь в опасности — жить во много раз больше хочется...

Спасибо командиру катера, успокоил: раз сам стоит в рубке, значит, ничего страшного. А что вода пошла... Может, так и предполагается?

— Сходи, мичман, в кубрик, успокой людей, распорядись, — говорит старший политрук.

— Вам сподручнее.

— Я не прошу, а приказываю.

Мичман ныряет в люк, а старший политрук достает носовой платок и вытирает лоб, покрытый нехорошей липкой испариной. В это время рубку заволакивает дымом. В нем захлебывается пулемет Азанова. Неужели проскочили в завесу? Только подумал так — в рубку ввалился Фельдман. Он сначала откашлялся, несколько раз чертыхнулся и лишь потом спросил:

— Кто здесь?

— Я.

— Комиссар?.. Катер, как решето моей бабушки... Сбросил дымовую шашку, может, обманем гадов, проскочим... Вы сейчас держите чуточку правее, а потом все прямо, прямо!.. Сейчас ход дам.

Бурые клубы дыма обтекают рубку, и не поймешь — то ли сам движешься или дым несет мимо тебя.

Еще правее или уже прямо?..

Попросить полный вперед, чтобы хоть что-нибудь увидеть? Нельзя: при большой скорости и вовсе не справятся с откачкой воды. И сейчас-то раненые ведрами, касками, котелками и даже кружками вычерпывают ее. Ишь как скребут.

Все сейчас борются за жизнь катера. Только он с Назаровым на босых постах. Назаров следит за моторами, а он ведет катер. Куда ведет? Кажется, прямо. Кажется, к левому берегу.

Дым начал редеть. Впереди и вдоль левого борта — темная полоска берега. Выходит, он так забрал вправо, что катер идет почти по течению.

Старший политрук перекладывает руль левее и выбирает место, куда пристать. Наконец находит песчаную косу. На нее можно выбрасываться спокойно: здесь катер не затонет и в том случае, если пробоины даже не удастся заделать.

— Правильное решение, — одобрил мичман, когда осмотрелся. — Теперь наш тралец оживет, мы его подлатаем....

— Дай бинт, — просит старший политрук.

Мичман вскидывает на него глаза. Так вот почему осунулся комиссар! Так вот почему он и в кубрик не пошел, а его послал!..

— Комиссара ранило! — кричит мичман.

Первым в рубку ворвался Азанов. Он закинул руку старшего политрука себе на шею и спросил:

— Шагать можешь?

— Куда ему шагать, если в обе ноги. Ладно, что еще стоит, — ворчит мичман, который уже бесцеремонно распорол одну штанину и накладывает тугой жгут на ногу комиссара.

— Растерялись? Не знаете, что делать? Честное слово, включи в Одессе все прожекторы мира — таких идиотов не найдешь! — злится Фельдман. Он бросается в кубрик и возвращается оттуда с одеялом.

На одеяле вынесли старшего политрука на берег, прислонили спиной к молодому дубку. Потом мичман начал более капитально перевязывать ноги замполита, а остальные — Азанов, Фельдман, Назаров и некоторые солдаты — понимающе переглядывались и говорили совсем не то, что думали:

— Царапины!

— Недели через две плясать будет!

Старший политрук понимал, что это ложь, он уже сам убедился, что одна нога перебита окончательно, а вторая — терпимо, но был благодарен людям: ведь они переживали за него, ведь они и врали лишь для его спокойствия.

Потом был общий перекур. Сидели и лежали на сырой земле, думали, что делать. До тракта — километров пять, а лежащих раненых столько, что одного придется оставить, если идти к трак-

ту. И еще одного здорового. Чтобы охранял катер и смотрел за раненым.

— Я за то, чтобы немедленно трогаться. Когда нас еще здесь заметят, когда раненых в госпиталь доставят... На тракте любая машина подбросит, — сказал старший политрук.

Еще немного поспорили для вида, но так и решили: идти не медля ни минуты.

— Азанов, останешься на катере, — приказал мичман. — А из лежачих сами выбирайте.

Не хочет мичман называть того раненого, которому придется лежать здесь и ждать. Конечно, есть и такие, что сейчас уже без сознания, эти возражать не станут, но есть у человека и обыкновенная жалость. Мичман хочет, чтобы за него решили другие.

— Я с Азановым останусь, — говорит старший политрук.

Короткая пауза, и Фельдмана прорвало:

— Вы слышали? Он думает, что сказал что-то умное!

— Разговорчики! — повысил голос старший политрук.

— А чего говорить? Забирай, ребята, комиссара, и точка! — разозлился Азанов.

Старший политрук достал пистолет, снял с предохранителя.

— За невыполнение приказа могу и застрелить.

Сказал так спокойно, что ему поверили.

— Так, значит?! Что ж, прощай, Одесса! Или мы не люди?

— Не дури, Фельдман, не маленький... Сам себя уважать перестану, если кто другой останется. Только устройте меня поудобнее.

8

Старший политрук сидит, навалившись спиной на молодой дубок. Светает. Над рекой медленно плывет туман, густой и низкий. Высок ли берег, а он, Векшин, уже над туманом. И флаг катера тоже. Будто над облаками реет флаг.

А матрос Азанов все еще сердится, не может простить. Хотя сам наверняка поступил бы так же... Нет, ты не спорь, Азанов, не спорь. Я уже разгадал тебя. Ты для другого человека все отдашь.

Почему мы так любим это выражение — для другого человека? Даже в газетах пишут, что такой-то пожертвовал своей жизнью, спасая другого человека.

Правильнее сказать — выполняя свой долг. Долг советского человека.

Вот и он, Александр Петрович Векшин, член партии с тысяча девятьсот тридцать шестого года, остался здесь лишь для того, чтобы выполнить свой долг. Как коммунист, он был обязан поступить только так.

Ноги начали сильно болеть. Там, на катере, боль была какая-то тупая, как от сильного ушиба. А сейчас... Лучше думать о другом...

Жаль, что придется покинуть дивизион: народ здесь хороший, с ним работать можно. И комдив хорош, с характером, а не флюгер...

А здорово он любил своего бывшего заместителя. Так и врезал: «Быстро же вас прислали!»

Это очень хорошо, что человека даже после смерти по-прежнему любят. Значит, правильно, достойно вел себя при жизни. А вот он, Векшин, в этом дивизионе фигура эпизодическая: вечером пришел, утром не стало. Не повезло.

9

На ветку дуба села синица, наклонила голову. Она рассматривает человека. Он почему-то полусидит среди одеял и подушек, полусидит и даже не шевелится. Притворяется или действительно безопасен?

А ну его.

И синица улетела.

Александр Петрович проводил ее глазами. Жаль, что улетела. Что ни говорите, а живое существо, глядя на птицу, можно отвлечься, забыть про боль в ногах. Она скоро станет просто невыносимой...

Интересно, почему листья дольше всего держатся на вершинах деревьев? Им бы, кажется, первыми облететь, а они держатся... Обязательно нужно спросить у специалиста, может, позднее и его кто спросит...

Сколько времени назад ушли матросы? Жаль, что по часам не заметил... Сейчас раненые, наверное, уже в госпитале, их перевязывают... Нет, скорее всего матросы еще только подходят к тракту. Пока поймают машину, пока доедут до госпиталя.

Только бы не больше четырех часов! За четыре часа, говорят, нога мертвоет под жгутом. Если же омертвоет...

Он шевельнулся — и сразу за спиной голос Азанова:

— Что-то нужно, товарищ комиссар?

— Ты здесь? Давно?

— Взглянул на катер и сюда. Думал, спите, ну и затаился.

— Нет, я не спал. Думал.

— Тише! — перебил Азанов и даже вскочил.

В лесочке стрекочут сороки. Рвутся бомбы в городе. Хотя...

Теперь явственно слышен гудок машины. Она гудит почти не переставая и все ближе, ближе.

— Наши! Честное слово, наши! — ликует Азанов.

А вот и машина, обыкновенная полуторка. Она вывалилась из леса и несется по полянке. В ее кузове, облапив ручищами кабинку, стоит командир дивизиона.

— Ты что же, комиссар, подводишь дивизион, а? — оглушает басом комдив. — Только пришел, только узнали тебя, а ты сразу и в госпиталь?

— Вы же знаете, не нарочно...

— Не выкай. Зови меня Федором Григорьевичем или просто Федя. Договорились? А тебя как величать?

— Александр... Саша...

— При матросах Сашкой звать не буду. Отчество?

— Петрович.

— Так вот, Александр Петрович, как поправишься — полным ходом в дивизион. Так и запомни: жду тебя комиссаром!

— Сам знаешь, нет теперь комиссаров.

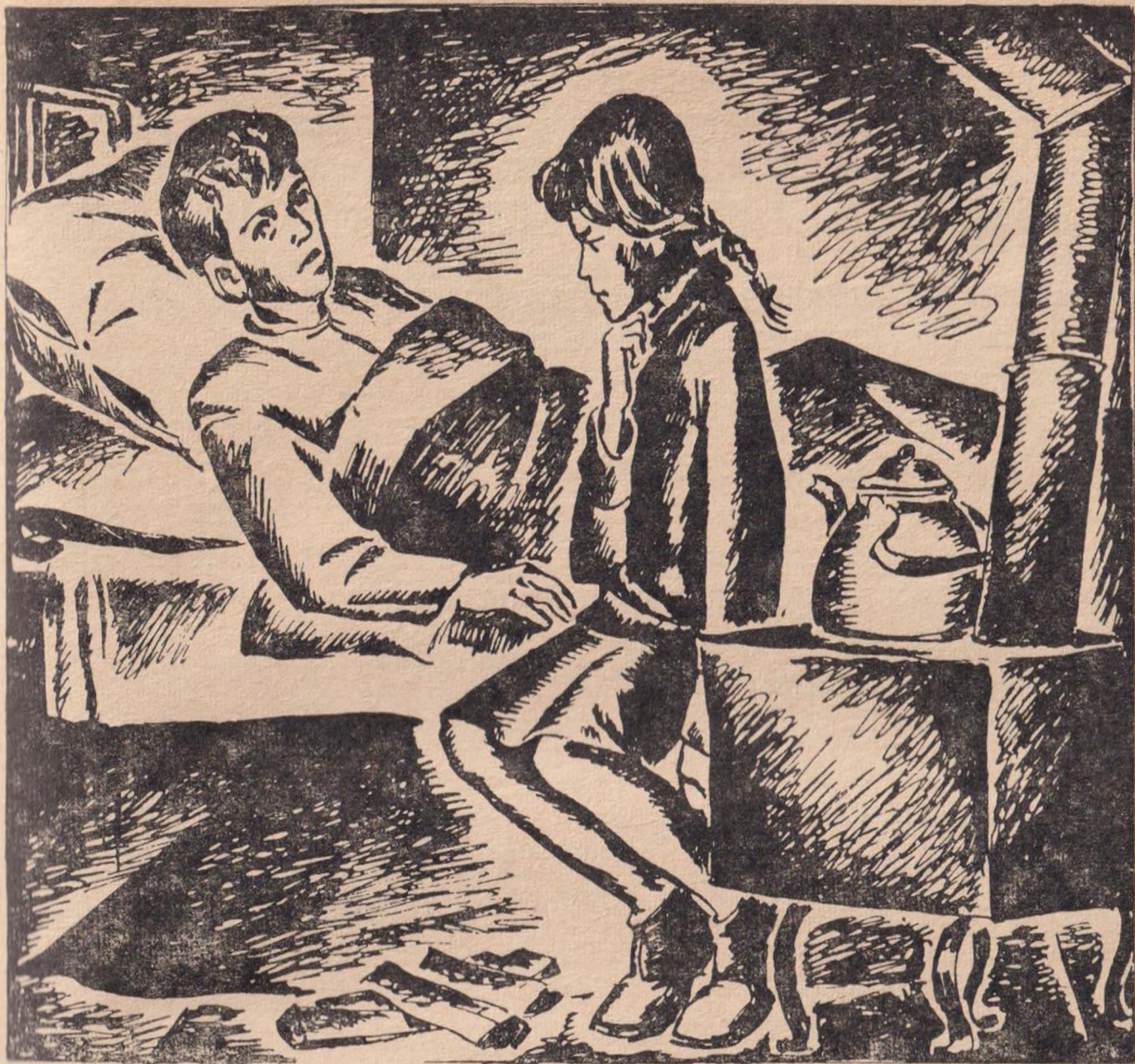
— Вот и врешь! Это институт комиссаров упразднили, а комиссаров... Называй ты их замами, помами или еще как — хорошего человека матросы все равно комиссаром величать будут. Понимаешь меня?.. Ну, таким человеком... Чтобы ни бога, ни черта не боялся, любое черновое дело знал и вел народ за собой! Ты не подумай, что я болтун. Тороплюсь, вот и стреляю очередями. Сам понимаешь — дивизион! Тут глаз и глаз нужен. А за тебя, черта, еще и политинформации проводить придется!.. Да не хмурься: я выдюжу. Наша порода, как дед говорил, могучая!.. Значит, договорились? Вернешься?

Рядом стояли Азанов, Ткаченко и Фельдман. Они тоже ждали ответа.

— Ладно.

— Порядочек! — Первушин сунул свою лапищу Векшину, но на полпути передумал. Он просто обнял нового друга, ткнулся подбородком ему в щеку. — Ну, быстрее поправляйся, комиссар Сашка. И сразу сюда. А назначение соответствующее тебе будет, об этом не беспокойся. Я такой концерт закачу начальству в политотделе, что уважат просьбу!.. А ты не передумаешь?

— Сказал же, вернусь!



Лев Правдин

НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ

1

В гостинице появилась новая дежурная. Сначала Сеня даже не заметил ее. Возвращаясь домой, он врывался в просторный вестибюль, пересекал его по прямой и с разгона влетал на ступени широкой лестницы. Силы оставляли его обычно на пятом марше, между третьим и четвертым этажами. Тут он присаживался на ступеньке и отдыхал: впереди было еще почти три этажа.

В этот день, когда он так сидел и набирался сил, услышал легкие шаги. Кто-то не спеша поднимался по лестнице. Скоро он увидел миловидную маленькую женщину. Сначала он разглядел только ее темные пушистые волосы и тонкое смуглое лицо. Да еще серый пуховый платок, в который она закуталась, скрестив руки на груди.

Маленькая женщина или, может, большая девочка. Это он разобрал только когда она заговорила с ним.

— Сеня?

— Да, — ответил он, недоумевая, откуда ей известно его имя.

— Вам письмо внизу, в дежурке.

У нее был красивый, мелодичный голос, чуть приглушенный, словно она собиралась сообщить что-то по секрету. И еще необыкновенные глаза — грустное изумление застыло в них, будто она увидела очень удивительное и не очень веселое.

— Вы меня знаете? — спросил он.

— Конечно. Я всех обязана знать. Ведь я тут дежурный администратор. И уже давно. Три недели.

Письмо, как он и ожидал, было от мамы. Она часто присылала такие письма, короткие, не больше, чем на одной страничке. Она сообщала, что все у нее идет нормально, и просила не волноваться и жить хорошо.

Но это письмо не походило на все ее предыдущие письма. Она писала, что ее посылают в одно очень отдаленное место. Письма поэтому будут редко, а скорей всего их очень долго вообще не будет. Но волноваться не надо. Надо беречь друг друга и помнить о ней. Всегда, что бы с ней ни случилось. И ждать. И никогда не унывать и не хныкать.

«Мы — ленинградцы, — писала она, — мы все выдержим и не сдадимся. Милые мои, вы — мужчины, вы лучше знаете, что страшно бывает лишь тому, кто не верит в победу. А кто верит в победу — тому не страшно.

Я не была в нашем городе с начала войны, но мне все рассказывают, как там трудно и часто просто невозможно. Разве мы когда-нибудь сможем забыть наш Малоохтинский рай? Что там сейчас? Что там сейчас, в нашем великом страдальце, в нашем могучем бойце Ленинграде?»

Рай! До сих пор Сеня не придавал этому слову никакого значения. Рай, ад — все это поповские выдумки, в общем — липа.

Это слово годится разве что для совершенно несерьезного сравнения: «Живем, как в раю». Звучит иронически, потому что никто еще в раю не бывал.

Опять эта дежурная. Бежит сверху, как девочка, размахивая какими-то бумагами. Улыбается, а глаза! Как у ребенка, которого наказали и он не знает, за что. Такие глаза, в которых застыло покорное недоумение, Сеня часто встречал в блокадном Ленинграде и потом в поезде, который вез эвакуированных в этот далекий уральский город.

Пришел отец, как всегда усталый от репетиций в холодном зале театра, но не поддающийся усталости. Человек не может жить без веры в хорошее, он был глубоко в этом убежден и старался во всех и в самом себе поддерживать эту веру.

Отец прочел письмо, затем перечитал его, затем проговорил то, что всегда, когда не знал, что сказать:

— Да, да. Ну и отлично...

— Насчет рая, — сказал Сеня, — что-то тут мне непонятно.

Глаза отца заблестели ярко и расплывчато, как отраженные в воде огни. Он уронил платок и, поднимая его, проговорил:

— Да. Рай. Это, видишь ли, самое лучшее место, какое только можно вообразить.

— Малая Охта?

— Ты же знаешь, именно там мы впервые встретились с мамой.

— И вам было хорошо? Как в раю?

— Ну, что ты! Мы тогда и не думали о рае. Зачем?

— А потом?

— А потом, мой милый, для меня раем становилось любое место, где со мной бывала мама. Она умела одним своим словом создавать рай.

Да, она это умела. Как хорошо все было, когда все жили вместе.

— А когда хорошо, то разве подумаешь о рае? — продолжал отец. — Такие сравнения приходят, когда не очень-то хорошо. Рай — это только прошедшее или будущее, воспоминания или мечта. А жизнь, мой милый, это настоящее. А настоящее — это всегда борьба. Вот о таком рае и пишет нам мама.

Сеня не в полной мере понял объяснения отца, но, как всегда, он поверил ему. Рай, за который надо воевать, вещь вполне конкретная и стоит того, чтобы за него воевали.

В этот уральский город они приехали в прошлом году. Сене тогда исполнилось четырнадцать лет.

На вокзальной площади эвакуированных сажали в трамваи с мохнатыми от инея стеклами и долго везли по длинным прямым улицам. Потом еще пришлось идти по какому-то тоннелю, пробитому в снегу. Втянув голову в цигейковый воротник пальто, Сеня торопливо шагал по хрустящему снегу.

Сугробы лежали по обе стороны тротуара, как горные хребты, их вершины тонули где-то в аспидно-сером небе. Сеня все старался заглянуть наверх, но не мог — мешал тяжелый рюкзак. Кроме рюкзака, пришлось нести и чемодан. Не особенно он тяжел, но, когда долго несешь, то всякая, даже не особенно тяжелая вещь, начинает оттягивать руки. Но Сеня несет и не жалуется.

У папы только одна его скрипка, закутанная поверх футляра еще и в одеяло. Он несет ее как ребенка и трудно дышит. Недавно в вагоне у него был сердечный припадок. Сеня растерялся: папа, такой сильный и на вид цветущий, и вдруг — припадок. Хорошо, что тут кругом были знакомые и товарищи по работе, которые знали, что надо делать в таких случаях. Скоро папа пришел в себя и, сконфуженно улыбаясь, проговорил:

— Ты испугался? Ну и напрасно. Все чудесно кончилось. Просто я что-нибудь тяжелое поднял или поволновался. А теперь все хорошо и отлично.

Но Сеня не вполне поверил отцу. Эти «отлично» и «чудесно» да еще веселый голос — все это маскировка. Не так-то все хорошо. Он спросил:

— Почему я ничего не знал про эти припадки?

— А этого, видишь ли, и не надо тебе знать. Это мое личное дело. И никому не мешает.

— А мама знает?

Отец долго молчал, прежде чем ответить:

— Мама, милый мой, все знает.

Тогда, неожиданно для себя, Сеня проговорил суровым тоном:

— Теперь все самое тяжелое буду носить я.

И сказал так, будто в эту минуту он стал старше и сильнее и получил право разговаривать с отцом так, как с человеком, за которым надо присматривать и, в случае чего, помогать. Он не за-

метил, как это у него так получилось. А отец заметил и сначала растерялся:

— Ну хорошо, — сказал он, — пожалуйста, я подчиняюсь. Я с удовольствием. Приятно подчиняться, если тобой командует любящий человек.

Это верно, он всегда и охотно подчинялся маме, выполнял все ее распоряжения и желания. Все это он делал с искренним удовольствием, никогда не спорил и не высказывал мнения, если оно уже было высказано мамой.

Но Сеня также знал, что отец подчиняется только тем, кого сам считает достойным уважения и любви, и потому слова отца не удивили: в его любви он не сомневался.

3

Их поселили в гостинице — самом большом здании в городе — на последнем этаже, на седьмом. Гостиницу так и называли — семиэтажка.

Когда утром Сеня подошел к окну и, приподняв штору, впервые глянул на незнакомый мир, то ему показалось, что в этом мире ничего больше не существовало, кроме ослепительного солнца и такого же ослепительного снега. И все кругом после Ленинграда, с его серым зимним небом, казалось голубым. Голубой город.

Сквер напротив гостиницы так завален снегом, что под ним почти полностью исчезли и ограда, и кусты, и даже молодые деревца. А старые деревья тоже еле видны под белыми шубами и шапками.

Со своего седьмого этажа Сеня сначала увидел одни бело-голубые подушки крыш и только потом невысокие домики старинной постройки. Прямо перед окнами стояло красивое здание: наверное, это театр. А дальше виднеется огромная белая равнина — река. Большая уральская река, о которой он знал только из учебника географии.

— Папа, я вижу Каму! — воскликнул он, словно землепроходец, открывший никому неведомую землю.

Отец, потягиваясь в постели, жизнерадостно отозвался:

— Отличный город! Подними-ка шторы. Чуешь, какой воздух? А солнце-то!

Он сбросил одеяло и подошел к окну в своей сиреневой с го-

лубыми обшлагами пижаме. От нее шел еще заметный запах старой ленинградской квартиры. Сеня стиснул зубы и зябко засунул ладони себе под мышки. А отец продолжал:

— Я узнал: тут есть музыкальное училище. Мы с тобой чудесно устроимся...

И все устроилось хорошо, насколько это возможно, когда идет война. Отец, как и в Ленинграде, утром уходил в театр на репетиции, вечером в черном костюме и белом галстуке — на спектакли. Только теперь под рубашку он стал надевать фуфайку, потому что театр отапливался плохо, и зрители сидели в валенках.

Сеню приняли сразу на второй курс музыкального училища. Елена Сергеевна — преподаватель по специальности — считала его лучшим своим учеником. Все в училище знали: с кого она спрашивала больше всех, того она, значит, и считала лучшим. А уж Сеню она так гоняла, что у него никогда не было ни одного свободного часа. Его и еще одну девочку, тоже ленинградку, — Марину Ивашеву.

В гостинице было прохладно: когда Сеня играл на пианино в вестибюле третьего этажа, то у него замерзали пальцы от холодных клавишей. Не очень, правда. Подышишь, и все пройдет.

4

Тут он познакомился с одной девочкой. Как она появилась, Сеня не заметил. Он играл, а когда кончил и стал складывать ноты, увидел красный свитер, светлые косы и тихие внимательные глаза. Концы кос девочка зажала в кулаки и держала у самого подбородка. Потом Сеня узнал — такая у нее привычка.

Сложив ноты, он прошел мимо и, поднимаясь по лестнице, оглянулся. Девочка сидела в прежней позе и смотрела ему вслед.

Он вспоминал ее весь вечер и весь следующий день и с удивлением заметил, что ждет ее и боится, что она может не прийти.

Но она пришла. На этот раз Сеня заметил ее, как только она появилась, и кивнул ей головой. Она тоже наклонила голову и, осторожно ступая по ковру, прошла к тому же креслу, где сидела вчера. И так же, как вчера, зажала в кулаки свои косы и приложила их к подбородку.

Он уже закончил свои упражнения, но снова и снова повторял их, потому что не знал, что он будет делать дальше, что говорить,

когда наступит тишина. Ведь теперь они немного знакомы, и пройти молча мимо нее будет просто глупо и невежливо. Что она подумает?

Но играть так всю ночь тоже, наверное, очень нелепо. Сеня это понимал, но остановиться не мог. И она, наверное, отлично все понимает и посмеивается над ним. Видит же она, как у него пылают уши и как он старается нагромоздить побольше отчаянных бравурных аккордов, пытаясь укрепиться за ними.

И вдруг он услышал шаги за своей спиной. Он перестал играть и обернулся. Девочка, стараясь громче стучать, прошла мимо него, высоко вскинув голову. Он растерянно и поэтому, наверное, заносчиво спросил:

— Ты это чего?

На этот глупый вопрос она, конечно, ничего не ответила. Тогда Сеня бросился за ней:

— Куда же ты?

Остановившись у самой лестницы, она откинула косы за спину и обернулась.

— Ты думаешь, ты только один понимаешь музыку? Да? Ты думаешь, все другие дураки?

Ее глаза блестели от слез, от обиды, от гнева. Теперь, когда пушистые концы толстых кос не закрывали подбородка, стало заметно, что свитер ей велик и из широкого растянутого ворота смешно торчит ее голова на тоненькой смуглой шее, как птенец из гнезда. Сеня так и подумал, и он улыбнулся, хотя ему сейчас было не до смеха, потому что он не понимал причины ее гнева.

— Ничего я не думаю. Чего ты?.. — проговорил он, продолжая растерянно улыбаться.

— Я вижу, — она всхлипнула совсем по-ребячьи, — вижу я все. Ты нарочно так. И нечего смеяться.

— Да нет же. Я не смеюсь...

— Нарочно играешь одно и то же. И совсем это не музыка. Это тра-та-та...

Она растопырила пальцы и обеими руками показала, как он делает тра-та-та, это у нее получилось очень смешно, и она сама, должно быть, поняла, что смешно, потому что коротко засмеялась. Коротко и звонко, как смеются девчонки, если у них на глазах еще не высохли слезы.

Он тоже засмеялся и спросил:

— Тебя как зовут?

— Ася. А тебя Семен.

— Кто тебе сказал?

— Мама. Она здесь работает дежурным администратором.

— Это твоя мама?

— Да. А ты почему так удивился?

— Ты на нее совсем не похожа. Нисколько.

Убежденно, как о чем-то совершенно бесспорном, она сказала:

— Это тебе так показалось. Мы как две капли...

Нет, Сеня этого не находил.

— У вас совсем разные глаза.

— Это верно. У мамы они удивительные. А у меня самые обыкновенные.

— Обыкновенные?

Сеня отважился и взглянул на нее. «Самые обыкновенные» глаза смотрели на него прямо и чуть-чуть насмешливо. И еще как-то беспокойно. Он подумал, что в такие глаза нельзя долго смотреть, и отвел свой взгляд.

— А твой папа? — спросил он только для того, чтобы скрыть замешательство.

Ответа не было так долго, что он, хоть и с опозданием, но сообразил, что этого вопроса лучше было бы и не задавать.

— Да, — ответила она, — на фронте.

Ответила так неохотно и пренебрежительно, что у Сени сразу возник следующий вопрос, задать который он не отважился. Пока он собирался с духом, она решительно сказала:

— Мы с ним расстались еще до войны.

Снова наступило длительное молчание, во время которого Сеня смог хорошо обдумать свой следующий, на этот раз совершенно безобидный вопрос:

— Ты любишь музыку?

— Да, очень. Только слушать. А сама ничего не умею. Я не способна к музыке. А про тебя говорят, что ты очень способный.

— Кто говорит?

— Мама. Она все про всех знает.

Сама Ася тоже много знала про всех и умела интересно рассказывать о людях и их поступках. У нее были твердые взгляды на все поступки людей. Она считала, что все люди делятся на хороших и плохих, и все их поступки, мысли и слова тоже бывают или

хорошие или плохие. Никакой середины она не признавала и беспощадно осуждала все, что считала плохим.

И она все умела делать. Кроме школы, ей приходилось выстаивать в очередях за хлебом, за продуктами, готовить обед, стирать белье и убирать комнату. Училась она в третью смену и после школы заходила в гостиницу за мамой. Если мама задерживалась на работе, то и она сидела с ней в дежурке и слушала все, что говорят взрослые. К маме приходили горничные, дежурные по этажам, истопницы поделиться своими бедами — радостей-то откуда взять, — рассказать новости, обсудить поведение временных и постоянных жильцов. Все это Ася выслушивала, сидя в дежурке на диване с таким видом, будто ей ни до чего дела нет.

Да ее и не замечали сначала, а потом привыкли, и даже мама, по дороге домой и дома тоже, продолжала с ней незаконченные в дежурке разговоры. Мама ничуть не стеснялась дочери, говорила с ней как со взрослой. И даже спорила с ней, потому что Ася никогда не соглашалась оправдывать дурные поступки только тем, что человеку трудно пришлось, вот он и покривил душой.

А мама, та, наоборот, все оправдывала, все даже самые скверные поступки, если у человека было безвыходное положение.

Никаких безвыходных положений Ася не признавала и никогда никого не оправдывала. Исключение она делала только для одной мамы. Ее поступки, какие бы они ни были, Ася не оправдывала и не осуждала. Себе она не прощала ничего, а маме все. И только когда мама уж очень не соглашалась с дочерью, та просто отмахивалась от нее, как от маленькой:

— Ну, ладно, ладно...

Заметив ее дружбу с Сеней, мама спросила:

— Ты ему мешаешь, должно быть?

— Я сижу тихо, когда он играет.

— А потом?

— А потом мы немного разговариваем.

— О чем?

— Он мне рассказывает про Ленинград, как там раньше было хорошо. До войны. Про маму. Она врач — майор медицинской службы. И очень красивая.

Мама сказала:

— Он и сам красивый. Сеня-то.

Ася неохотно ответила:

— Может быть.

Мама вздохнула и с непонятной для Аси печальной улыбкой проговорила:

— Ох, какая ты у меня взрослая становишься...

— А это плохо?

— Рано, я думаю. — Снова вздохнула. — Ну, беги.

На третий день их знакомства Сеня спросил:

— Ты в каком классе?

— В седьмом.

— Так сколько же тебе лет?

— Через месяц четырнадцать.

— Никогда бы не сказал!

— Ты думаешь меньше?

— Что ты! Больше. Я думал, шестнадцать.

— Все так думают. А я в классе не самая большая. Средняя.

— Ты как-то разговариваешь, как взрослая.

— Это оттого, что я все время среди взрослых. — Ася засмеялась. — Мама говорит, что я, как промокашка, все впитываю.

Промокашка. Эти девчонки всегда что-нибудь выдумают. Он усмехнулся, чтобы она не подумала, будто он очень восхищен ею и ее словами. А она подумала, что ему очень понравилось это меткое определение ее способностей.

— Правда, хорошо она сказала? Очень хорошо!

Он с независимым видом пожал плечами и тут же, неожиданно для себя, торопливо согласился:

— Вообще-то, да. Здорово!

Тут оказалось много для него удивительного. Она была совсем непохожей на всех остальных девочек. Она и сама особенная, и все, что она делала и говорила, тоже казалось ему особенным, сказанным впервые и непохожим на то, что говорили и делали другие. Его очаровала ее манера говорить торопливо, четко и недоговаривать некоторые слова, как, например, «оч» вместо «очень». Никому еще не удавалось так сказать. Даже ему. Втихомолку он уже пытался говорить так, как она: «оч хорошо». Как она? Куда там! Разве получится, как у нее?

Удивительное состояло еще и в том, что, разговаривая с девчонкой-семиклассницей, он не испытывал чувства превосходства. Скорее ему казалось, что он разговаривает со старшим и более опытным, чем он сам, человеком. По крайней мере, так свободно

судить о взрослых он не сумел бы. У него просто не хватило бы для этого материала — ни слов, ни наблюдений.

Да он и не думал сейчас ни о каком превосходстве. Наоборот, ему хотелось подчиниться ей во всем. И ему так же казалось восхитительным все, что она делала и говорила. Какое-то совершенно новое чувство овладело им. Как будто бы он был чем-то сильно удивлен. Или растерян. Наверное, растерян, как тогда, в тот вечер, когда он впервые ждал ее.

Это удивление и растерянность он пытался прикрыть привычной мальчишеской грубостью, но это у него получалось плохо и, наверное, глупо. Надувается, как индюк, перед какой-то семиклассницей, промокашкой.

Он оглядывался и думал, что никто ничего не знает и это очень хорошо, потому что иначе было бы очень стыдно.

Но ничего он уже не мог изменить. Сидя за пианино, Сеня прислушивался к знакомым шагам на лестнице, и ему казалось, будто все кругом с тревожной радостью тоже ждет ее появления.

А вдруг оказалось — все знают!

Она идет. Он слышит ее шаги по ступенькам. И вдруг голос горничной:

— На свиданку торопишься, Асенька?

Он похолодел от ужаса, а она легко рассмеялась:

— У вас только глупости на уме.

— Ох, девка, зря востра.

— А вы не задевайте.

— Скажу вот мамке-то.

На эту угрозу Ася не обратила внимания; продолжая смеяться, она сказала:

— Пока вы соберетесь, я и сама все расскажу.

5

Горничная эта, Митрофанова, была хорошая, приветливая женщина, услужливая и добрая. Только любопытство мешало ей стать окончательно добродетельной. Совершенно дикое и очень примитивное любопытство, от которого, впрочем, не было ей никакой выгоды. И она очень страдала и томилась, если ей долго не удавалось проникнуть в чью-нибудь тайну или если вдруг тайна оказалась непонятной.

Сейчас она, например, не понимала, почему Веру Васильевну бросил муж. Такую красивую, культурную — и бросил. А, главное, она сама согласилась на это. Без ее согласия ничего бы у него не получилось: он офицер и партийный — не бросишь так-то запросто. Тем более, еще до войны. Ее стремление это понять не имело предела. Уж, кажется, все она выпросила, вызнала, но так ничего и не поняла.

Не понимала Митрофанова этого и очень томила, ластилась, как кошка, и все спрашивала до того, что надоела Вере Васильевне. Она, деликатная и мягкая, даже покрикивать начала на Митрофанову. А та и не думала обижаться и все не знала, с какой бы еще стороны подъехать к этому непонятному вопросу.

На этот раз шепнула в дежурке:

— Делает успехи Асенька-то ваша...

Вера Васильевна смолчала.

— Вчера... вечером.. смотрю...

— Из сорок второго опять жаловались: в окно дует, — сухо проговорила Вера Васильевна, — подите проверьте. Или нет, посидите здесь, я сама схожу.

Она вышла из дежурки и вбежала на площадку между первым и вторым этажами. Там, прислонясь к стене, стоял Емельянов, Сенин отец. Полное лицо его побледнело. Он распахнул шубу и шумно дышал.

— Вам плохо? — спросила Вера Васильевна, подхватывая скрипку в футляре, выскальзывающую из-под его руки.

— Спасибо. — Он пошевелил губами и улыбнулся.

— Вам лучше сесть.

— Не надо. Вот уже все и прошло. — Он улыбнулся увереннее.

— Нет, вы меня не поддерживайте. Я тяжелый и больше вас вдвое.

— Ничего. Я сильная, вы не думайте.

Он посмотрел на нее, как смотрят на всех малознакомых людей, доброжелательно и с любопытством. Посмотрел и тихо спросил:

— Трудно вам жить?

Она не удивилась — а кому сейчас не трудно?

— Кто вам сказал? Нет, не очень. Как, наверное, всем.

— У вас глаза удивительные. Как у обиженного ребенка, простите. Кто вас обидел?

— Никто. Сама себя, может быть.

Не спеша, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, они достигли третьего этажа и тут сделали привал на протертом бархатном диванчике. Он вздохнул и медленно заговорил:

— Сами себя обижают только эгоисты. Им только кажется, будто они других обижают. А на самом деле у них вместо человеческого достоинства, вместо души — дырка. А вы, должно быть, любите людей и даже в ущерб себе?

Она с удивлением посмотрела на него — откуда он вдруг так все узнал о ней? Но Емельянов бодро скомандовал:

— Подъем!

На ходу он молчал, и она могла подумать о том, что он сказал про нее. Да, правда, она любила людей и всегда старалась сделать так, чтобы им было хорошо, «и даже в ущерб себе». Счастье близких она предпочитала своему собственному счастью, но делала это так, что даже самые близкие не замечали ее самоотверженности. Больше того, жалели ее как несчастненькую. И как это он угадал сразу то, над чем Митрофанова бьется целых три месяца?

Четвертый этаж. Отдых. Вздохнув, она сказала:

— Нельзя вам на седьмой этаж подниматься. Надо бы похлопотать.

— Таких, как я, у нас много.

— Вон в сорок втором писатель живет. Здоровый, как футболист. Второй этаж.

— И что же, он счастлив?

— Не знаю. Все время жалуется.

— Ну, вот видите: не вполне счастлив. Ему плохо на втором этаже. У нас часто понятие «счастье» смешивается с понятием «благополучие». За счастье надо бороться. Надо, обязательно. А за благополучие не знаю, стоит ли?..

— А как определить, где счастье, а где благополучие?

Он рассмеялся и, подмигивая ей, как сообщнице, сказал:

— Сами догадайтесь. Подъем!

Теперь уж она не могла подниматься молча, надо было высказаться до конца.

— Я вам неправду сказала, будто сама обидела себя. Это я так думала до этой минуты. Муж полюбил другую, и я не стала его удерживать. А могла бы. Я подумала — пусть идет, он нашел

свое счастье, и мы найдем свое. Он ушел, мы остались одни, но никому счастья не прибавилось. Верно, что я пошла на поводу у судьбы? За счастье, говорите, бороться надо, а я этого не умею.

Чтобы ответить ей, Емельянов даже остановился так неожиданно, что она успела проскочить на две ступеньки выше его. Вот теперь их глаза оказались на одном уровне. Это ее очень смутило, она покраснела до слез, а он рассмеялся и погладил ее руку.

— Вас, конечно, называли «гарнизонная красавица»?

— Да. А вы как узнали?

— По вашему лицу. И по глазам.

— Ох, как давно это было!

— Ну, я думаю, не очень-то.

Пятый этаж прошли молча и только на шестом задержались. Тут он сказал:

— Те, кто думают, что от счастья можно отказаться, ошибаются. Это невозможно. Наступает такой грустный момент, когда счастье просто уходит, и задержать его еще никто не смог. Нет у человека такой силы. Без причины, добровольно от счастья еще никто не отказывался. Бороться, конечно, можно. Всегда бороться и всегда искать.

— Бороться? — Она смущенно засмеялась. — Искать? Искать можно вещь, а человек должен сам находиться. Вот нашелся и потерялся...

— Вы его любите?

Любите? Нужно ли об этом спрашивать? Он понял, что не надо. Какие у нее удивленные и, несмотря ни на что, веселые глаза. Добрая она очень и безвольная. Ни о чем ее не надо расспрашивать. Убедить ее в необходимости бороться — вот что ей надо.

— Напишите ему об этом. Война калечит счастье, ломает людей, но она же на многое открывает людям глаза. Напишите, послушайте меня...

Она растерянно отвела взгляд: он просит! Такой большой, доброжелательный, усталый, просит. А если и правда, если взять и написать?

— Так и написать? Адрес у нас есть. Он, понимаете, Асеньке пишет, а мне нет. Он стесняется. Смешно.

— Конечно, смешно. Так вы сегодня же и напишите. И то, что он сделал, — все смешно: разве лучше вас отыщется для него человек? Именно смешно... Пошли дальше.

На площадке седьмого этажа он взял у нее черный футляр и поблагодарил за то, что она поделила с ним удовольствие восхождения.

— Удовольствие? Не сказала бы.

— А вы подумайте.

— Просто идешь, потому что надо. Деваться некуда.

— Умейте находить удовольствие даже в этом и никогда не жалуйтесь, как этот ваш футболист.

— Писатель.

— Тем хуже для него и для вас. Ломается, как футбольный премьер. Уж ему-то счастья не видать.

В дежурке ее встретила Митрофанова, ласковая, как кошка, ожидающая молока.

— Ну, что он, что?

Вера Васильевна засмеялась так легко и смущенно, что Митрофанова даже расспрашивать не стала, все поняла, именно так, как ей хотелось понять, и очень серьезно ответила:

— Вот и хорошо. Что же вам все в одиночестве. Чего он хоть говорил-то?

— А что он должен говорить? Спасибо, сказал, что проводила.

Кошка возмущенно фыркнула — вместо молока ей подсунули неизвестно что.

6

На ночь репродуктор выключали, потому что у отца сон был неважный и всякие посторонние шумы ему мешали. Сеня спал на диване у самого стола, где стоял репродуктор. Это было очень удобно: утром, не вставая с постели, можно было взять репродуктор и, укрывшись одеялом, спокойно в тиши и в тепле прослушать все военные сводки.

Прижимаясь ухом к холодной пластмассовой коробке репродуктора, в это январское утро он услышал то, чего все давно ждали: войска Ленинградского и Волховского фронтов начали большое и успешное наступление под Ленинградом и Новгородом. Фашистские банды отступают под натиском нашей армии.

У него перехватило дыхание и глаза налились жгучими слезами восторга.

— Ура! — крикнул он и включил репродуктор на всю его мощь.

Отец поднял голову:

— Ты что?

— Победа! Под Ленинградом большое наступление. Слушай, сейчас будут повторять.

Они притихли, слушая ритмичное, как морской прибой, шипение динамика. Из коридора доносились возбужденные голоса, смех, стук дверей. К ним в дверь тоже постучали, и кто-то прокричал: «Ленинградцы, наша берет, включайте радио!»

Но вот все стихло. Торжественно прозвучал голос диктора, сообщающий о справедливом возмездии. Отец и сын выслушали все, восторженно и строго глядя друг на друга. И потом еще долго молчали, ожидая продолжения. Несмотря на ранний час, они и не думали о сне. Сидели каждый на своей постели, закутавшись в одеяла. Из репродуктора доносилась музыка — бурный, звонкий марш.

Стояла середина января, и такого злого мороза давно не бывало. Оконные стекла, белые и мохнатые от намерзшего на них инея, не оттаивали даже днем.

Марш. Тут должна быть какая-то другая, ликующая музыка. Недавно он играл Бетховена, Третий концерт. Вот что сейчас надо.

Отец попросил:

— Пожалуйста, сделай потише.

Сеня вытянул руку из-под одеяла, повернул регулятор, музыка зазвучала глуше.

— Как ты думаешь? Теперь скоро?

Отец определенно ответил:

— Весной будем дома.

— Дома? — с особым значением спросил Сеня.

— Да, — уточнил отец, — в Ленинграде.

Существенная поправка: дома, это — когда все вместе, все трое. Тогда это дом. А без мамы? Но об этом они не говорили. Но не думать о ней они не могли, и у них выработался своеобразный код, по которому они без ошибки расшифровывали все недосказанное.

Ничего не зная о матери, Сеня мог только надеяться и не допускать мысли, что она может погибнуть.

— Проклятые немцы, — проговорил Сеня, чувствуя, что к его торжеству примешивается ненависть.

— Фашисты, — уточнил отец, — не все же немцы такие.

Он даже теперь старается быть справедливым, но Сеня не может согласиться с ним.

— А что они сделали с Ленинградом? Все они звери. Все.

Не слушая его, отец проговорил:

— Кончится война, пройдет какое-то время: вырастет и возмужает новое поколение, но никогда люди не забудут, что такое фашисты. Никогда. И, наверное, слово «фашисты» станет самым оскорбительным ругательством. Вся грязь мира, все подонки человечества — вот что такое фашисты.

— Немцы всегда на нас лезли, когда даже названия такого не было — фашисты.

— Названия не было, а фашисты были. И находились люди, которым это выгодно. Вот их всех надо уничтожить, как собак. Эта война многому научила все народы.

— Дорогая наука.

— От дорогой науки больше толку, чем от дешевой.

Сеня знал: доброжелательность никогда не мешала отцу быть беспощадным к человеческим порокам. К человеческим. Но ведь тут не люди, тут бандиты, звери.

Белые веточки инея на окне слабо зарозовели. Пора вставать. Раздался голос отца:

— Раз!

Сеня замер под одеялом. В голосе отца зазвучала не свойственная ему командирская жесткость:

— Два!.. Три!..

Одеяло полетело в сторону. Ух, как в холодную воду. Но Сеня заставил себя подняться с такой неторопливостью, словно в комнате была нормальная жилая температура. Но выдержки хватило только чтобы натянуть брюки. Рубашка, свитер, носки — все это надевалось как по тревоге.

Завтрак занял не больше трех минут — чай из термоса и ломтик хлеба, смазанного лярдом. У двери надел пальто и крикнул уже с порога: «До свидания, я пошел!»

Сеня опаздывал. Сегодня в одиннадцать у него фортепиано, а уже половина одиннадцатого. Опаздывать нельзя. Никаких отговорок Елена Сергеевна не признает. Опоздание или невыученный урок она не считает преступлением. Это и в ее глазах намного хуже: неуважение — вот как называется такое отношение к делу.

У дверей класса он понял, что опоздал. Кто-то уже там играл.

Шопен, концертный этюд. Исполнение мягкое, воркующее. Конечно, это Марина Ивашева, самая добрая девочка на курсе. И способная. Сеня представил, как она там перекачивает свои пухлые ладошки по черно-белой тропинке клавиатуры, а сама пылает от волнения.

Она кончила. Слышится голос Елены Сергеевны и ответное попискивание Марины. Решив, что это надолго, Сеня устроился поудобнее: прислонился к стене, нотная папка за спиной, руки в карманах. Неожиданно дверь отворилась, Сеня выпрямился, папка глухо ударилась о пол, вышла Елена Сергеевна в пальто, накинутом на плечи.

— Здравствуй, — на ходу проговорила она, внимательно посмотрев на него близорукими глазами. — Заходи. Я сейчас.

Ни слова насчет опоздания, значит, это еще впереди. Он вошел. Марина, все еще розовая от пережитого волнения, собирала ноты в большой потрепанный портфель. Она не очень обижалась, когда говорили, что с этим портфелем она еще пошла «в первый раз в первый класс». Она вообще редко обижалась.

— Салют, — сказал Сеня. — Радио слушали?

— Конечно. Мы с мамой даже успели поплакать от радости. Теперь уж скоро домой!

— Вам бы только плакать.

— И не стыжусь. А ты опоздал! Что случилось?

— Что? Два несчастья. Первое — опоздал.

— А второе?

— Второе хуже — пришлось выслушать твою музыку.

— Остряк-самоучка.

— Ты любую музыку успокаиваешь. От твоего исполнения так и несет валерианкой.

— Да нет же! — рассмеялась Марина, — розами пахнет и сиренью.

Вошла Елена Сергеевна.

— Садись, Сеня, — проговорила она, проходя к своему роялю.

— До свидания, Елена Сергеевна. — Марина исчезла за дверью.

Сеня решительно сбросил пальто на спину стула и сел за соседний рояль. Растирая пальцы, чтобы разогреть их, Елена Сергеевна отрывисто сказала:

— Третий концерт. — И поставила перед собой ноты.

Сеня удивленно взглянул на нее: Третий концерт Бетховена. Это был предыдущий урок. Тогда она поставила ему пятерку. А зачем же еще раз? Но она прервала его размышления первыми аккордами аккомпанемента. Он сразу понял, что она взяла повышенный темп, и это его обрадовало, как будто с него свалились какие-то сковывающие его цепи и он сможет сейчас сделать что-то сильное, широкое. Вот сейчас он покажет!

Но едва он начал «показывать», как услышал стук ее ладони. С недоумением и досадой он оглянулся.

— Не так сильно, — торопливо проговорила она, — и немножко живее, а то распадается линия.

Снова вступление в том же повышенном темпе. Сеня собрал всю свою волю, но ничего не мог поделать с распиравшей его яростью. И снова Елена Сергеевна остановила его:

— Успокойся.

— Я спокоен.

— Хорошо. Тогда продолжим.

И больше она его не останавливала. Дала полную волю. И он постарался как следует воспользоваться этой волей, дал полный выход торжеству, ненависти, тоске. Бетховен — это как раз то, что сейчас нужно, Елена Сергеевна верно поняла его.

Бурные, стремительные, как страстно протестующая душа, звуки наполнили классную комнату. Сене казалось, что он пловец в этом взбесившемся море и что его душа в восторге как бы отделяется от тела и рвется вперед. Но чем дальше он заплывал, тем меньше надеялся на себя. Нет, он не потонет в этом море. Нет. И не потому, что он такой хороший пловец, а просто само море мелковато для этого. И его душа — никуда она не рвется — его душа смиренно поджала хвост и поползла на свое место.

Сеня вдруг увидел, до чего он беспомощен в этом мелком море. Только настойчивость помогла ему доиграть до конца.

— Ты сегодня играл, как никогда, — проговорила Елена Сергеевна, когда установилась полная тишина.

С изумлением и сожалением Сеня взглянул на учительницу. Неужели не поняла? Ему сделалось так неловко, будто он сказал неправду и ему поверили. Но она сразу же внесла ясность, печально проговорив:

— Вот видишь, что получается...

Она не стала договаривать. Зачем? И так все понятно. Силу в искусстве придают талант и труд. Вот так, в другой раз не будешь дураком.

Прежде чем сгореть от стыда, Сеня еще успел подумать:
«Музыка! За свое ли дело я взялся?..»

7

Музыкальное училище часто устраивало в госпиталях концерты для раненых. Сеня старался попасть на все концерты. Он все надеялся, что, услышав его фамилию, кто-нибудь вдруг спросит:

— Емельянов? Знаю я отважного майора медицинской службы Емельянову. Она вам, случайно, не сестра?

Маму всегда принимали за Сенину сестру — так она молодо выглядела. Да она и в самом деле молодая. Тридцать шесть лет.

Один летчик написал про нее стихотворение, которое заканчивалось так:

Я вас промчу над облаками
И над просторами Невы,
Не властны времена над вами —
Над временами властны вы.

Она была хирургом и с этим летчиком часто летала на санитарном самолете в такие места, куда не было никакой другой дороги. Фамилия этого летчика была Ожгибесов. Он был очень молодой и стеснительный. Он часто краснел, но у него были такие румяные щеки, что это не очень бросалось в глаза. Мама звала его Сашей, он ее — Таисия Никитишна.

На каждом концерте в госпиталях, когда ведущий, объявляя номер, называл его фамилию, Сеня вглядывался в лица зрителей. «Сейчас, — думал он, — вот сейчас случится чудо». Но чуда не случалось. Сотни людей шумно аплодировали, но никто, ни один человек не встречал на фронте доктора Емельянову.

Сеня никому об этом не говорил, даже отцу. Асе сказал, вернее, она сама как-то разгадала эту его тайну. Он только рассказал про маму, какая она красивая и отважная. И фотографии показал. Еще дома он все их собрал и наклеил в альбом.

— Вот смотри, — говорил он, — вот это она для комсомольского билета снималась. А тут парашютная группа... Еще в медицинском институте.

— Летчик, — сказала Ася, — какой молоденький, совсем мальчишка.

— Это Ожгибесов. Такая фамилия. А мама, видишь, в самолет поднимается. Это я из газеты вырезал.

Они сидели на диване, в номере горела только одна лампочка, и, чтобы лучше рассмотреть фотографии, Ася низко склонилась над альбомом, и тогда Сеня чувствовал на своей руке теплые толчки ее дыхания.

— Ох, какое платье! Бархатное.

— Наверное, в театр собралась. Я уж не помню. А может быть, для гостей. Она любила, когда к нам гости приходили.

— А это она операцию делает?

— Нет. Кинохроника приезжала снимать ее. Вот это будто она идет в операционную. А в самом деле ее просто так заставляли ходить по коридору и снимали в это время. А тут, смотри, она в самолете больного везет. Это тоже для кино снимали.

Тяжелая коса сползла с Асиного плеча, и пушистый ее конец рассыпался по странице. Ася смахнула ее небрежно, как сор. Сеня перевернул страницу. Торжественно, как по радио, Ася произнесла:

— И тут началась война.

— Мама пришла прощаться. Видишь, в форме. Тогда погон еще не было. Я ее все время снимал, пока пленка не кончилась.

Ася прошептала:

— И не заплакала ни разу?

— Все мы плакали потихоньку друг от друга.

— Я бы не смогла. При всех бы разревелась.

— Пришлось — смогла бы.

— Может быть. — Вздохнула. — Вот и альбому конец.

— И теперь мы не знаем, где она. Сколько ни спрашивали — ответ один: «Выполняет задание».

Почувствовав, что разговор начинает скользить по унылой тропинке, Сеня мужественно проговорил:

— Ничего. Мы — ленинградцы. Все выдержим!

Ася просто спросила:

— А мы, уральцы, по-твоему, хуже?

Этот вопрос вызвал не вполне еще понятный для него протест. Как можно сказать про нее, про уральскую девочку, что она хуже кого-нибудь? Да бывает ли лучше-то?

— Что ты, — воскликнул он, — ничуть не хуже!

Глядя прямо на его вспыхнувшее лицо, она твердо сказала:

— Нет, с ленинградцами никто не сравнится. Им труднее всех. А они и не думают сдаваться.

— Никто не думает.

Она взяла альбом и положила его себе на колени. Он тоже вздохнул, глядя на ее руку, поглаживающую зеленый бархат переплета. И ему захотелось погладить эту маленькую и не потерявшую еще детской припухлости девчоночью руку. Он подавил это неожиданное желание. Никогда раньше и в голову не приходило, какие там у них руки, у девчонок...

Но тут, вдруг, она сама, очень неожиданно, положила свою ладонь на его руки. Сеня присмирел и увидел очень близко, у самого своего лица, ее широко распахнутые глаза с такими большими и бездонными зрачками, что он невольно подался назад. Но он еще больше удивился, когда она прошептала:

— Слушай-слушай, вдруг найдется кто-нибудь из раненых, который знает твою маму...

Не отрывая своего взгляда от ее бездонных зрачков, Сеня изумленно спросил:

— Да ты что? Что ты?

— Ну и что же, — продолжала торопливо нашептывать она, — и ничего тут нет такого невозможного. Ведь их, раненых-то, тысячи. Вдруг кто-нибудь, вдруг Ожгибесов. Оч может быть. Сейчас все бывает, если война.

И с этого вечера они вместе начали ждать, когда случится чудо. Да нет, чудес ведь не бывает, даже во время войны. Человек не может исчезнуть без следа. Так не бывает. Особенно такой красивый и такой бесстрашный человек. Он обязательно должен напомнить о себе...

Ведущий объявил:

— Аккомпанирует Семен Емельянов.

Сеня привычно пошел к роялю, пристально вглядываясь в лица зрителей. И он увидел то, что так долго ждал, но совсем не так, как ждал и рисовал в мыслях. Где-то в глубине зала, среди разноцветных халатов и ярко белеющих бинтов, возникло движение. Какой-то человек, в сером халате, поднимая над головой толсто забинтованную руку, не то оберегая ее от случайных ушибов, не то прикрывая ею свое лицо, двинулся к выходу.

Сене было видно только его сгорбленную спину и нелепо торчащую вверх толстую култышку. Певица — тоненькая девчонка с третьего курса — в ожидании поправляла кружевной воротничок на своем концертном платье.

А человек около самой двери на секунду опустил руку, и Сеня тут же узнал его.

— Ожгибесов! — воскликнул он. — Подождите, это ж я!

Он не слышал, как на самом верхнем «до» ойкнула тоненькая певица, как загрохотал и заскрипел стульями зал. Все это сразу провалилось, исчезло.

Сеня пробился сквозь толпу и выбежал из зала. Сгорбленная фигура в серо-голубом халате стремительно удалялась по сумрачному длинному коридору, а Сеня бежал за ней между белеющих в сумраке высоких дверей.

— Ожгибесов! Она что?

Он так и подумал, что с мамой плохо, что Ожгибесов даже не может сказать, что с ней. Он сейчас исчезнет, и Сеня никогда не узнает правды. А этого нельзя, и он все равно не даст уйти Ожгибесову, он его все равно догонит, если даже придется бежать всю ночь.

Но летчик, наверное, и сам понял, что от Сени ему не уйти. Он вдруг остановился, так что Сеня налетел на него.

— Тише, черт! Видишь: рука.

— Что мама?

Ожгибесов усмехнулся, презрительно скривив губы, и как-то в сторону дернул стриженной головой. Он трудно дышал и прищуренными глазами смотрел мимо Сени, куда-то в дальний угол коридора.

— Сверни закурить, — голос хриплый и злобный, — кисет в кармане.

— Я не умею, — так же злобно ответил Сеня.

— А ты не ершись. Ишь ты какой! Скажи отцу — пусть придет. Сеня снова бросился к летчику.

— Вы все можете мне сказать. Вы не бойтесь, я не маленький, я выдержу. Где у вас кисет?

Здоровой рукой летчик достал из кармана халата красный кисет. Прикурив от зажигалки и шумно затянувшись, Ожгибесов сказал:

— Ты, Сенька, держись.

— Говорите все, — потребовал Сеня, пристально глядя прямо в глаза летчика.

Лицо Ожгибесова смягчилось:

— Эх ты, упорный какой. Жива она. — Еще затянулся, так что искры посыпались. Выплевывая махорочные крошки, он пренебрежительно повторил:

— Живет! Понял?

Высокие белые стены сорвались со своих мест и, как снежный вихрь, понеслись вокруг и вверх, захватив обмякшее тело Сени.

Но Сеня не поддался. Это — как в драке. Когда противник изловчится и опрокинет тебя, надо собрать всю свою волю и вскочить на ноги. Он собрал всю свою волю и открыл глаза. Желтые лампочки плывут в сумрачной вышине. И он сам тоже покачивается, как на волнах, так что кружится голова. И слышится музыка, тихая, похожая на весеннюю капель, и девичий голос, чистый и взлетающий, как поднебесная песня.

А рядом, склонившись к нему, плывет Ожгибесов. Здоровой рукой он трясет плечо и приговаривает:

— Ты что, Сенька, ты что, ты что?..

— Врете вы все! — грубо проговорил Сеня хриплым голосом.

Он стоял на ватных ногах, а во рту было горячо и шершаво, как будто он наглотался горячего песка.

Растягивая запекшиеся губы не то в улыбке, не то от боли, Ожгибесов проговорил:

— Вру? За такое вранье мне знаешь что? — И закричал на весь коридор: — Пулю в лоб! Как последнему подонку. Я не вру. Я ее сам видел. Стоит среди фашистов в белом халате.

По коридору прокатился отдаленный грохот аплодисментов, но он не заглушил криков Ожгибесова.

Из дверей начали выскакивать какие-то белые фигуры. Одни подхватили Ожгибесова и поволокли его, а другие двинулись к Сене, но он побежал от них по бесконечному коридору.

И вот он оказался на улице, в темноте, в снегу. Он бежал и падал, и снова бежал. Все было серое: темнота и снег, и небо, и в небе толстые, мохнатые от инея ветки. Все серое, неправдоподобное, без света и без теней. Только иногда мелькнет окно с тусклым дрожащим огоньком на морозных стеклах. И мороза тоже не было. Это было удивительно и странно.

Просторный вестибюль гостиницы, пустой и серый, как улица.

В окошечке за матовым стеклом дрожит желтоватый свет. Там сидит Вера Васильевна — Асина мама.

Надо постучать в это окошечко и взять ключ от комнаты. Но Сеня подумал об этом слишком поздно, лестница начала проваливаться под ним с головокружительной скоростью.

Где-то рядом слышится Асин голос:

— Да подожди же, ты позабыл ключ. Ты весь в снегу!

И еще какая-то женщина, около самой двери, воскликнула:

— О, господи! Да где ж это тебя раздели-то?

— Врете вы все! — пытался закричать Сеня, но у него пропал голос, а он все равно кричал: — Врете, врете! — И метался от бессилия и плакал без слез.

8

Прибежала в дежурку уборщица Митрофанова, которая помогала Асе укладывать в постель заболевшего Сеню. Прибежала и начала нашептывать:

— Ох, да ничего ты еще не знаешь, Вера Васильевна. Его жена к фашистам убежала... Сын-то как услышал про это, в одном костюмишке — да через весь город. А ему в госпитале один летчик сказал. Про мать-то. Вот дела у нас какие...

Вера Васильевна с тревогой выслушала все это. Прежде всего она подумала о дочери. Очень уж она подружилась с этим мальчиком. Он, конечно, воспитанный и скромный. Не в этом дело. А вот как-то Ася примет все это. Очень уж серьезна она и не по летам развита. Все понимает по-взрослому. Да вообще сейчас дети все как-то вдруг повзрослели. Стали подобранными и суровыми. И судят обо всем без снисхождения. И Ася тоже. Уж она-то ничего не простит, никому, даже этому своему другу.

Она спросила у Митрофановой:

— Откуда ты все знаешь?

— Да сам же он и сказал. Музыкантов сын. Мы с Асенькой в постель его укладываем, а он все выкрикивает: «Не верю, что мама к фашистам подалась!» Так все и выкрикивает.

— И я тоже не верю, не такие они люди...

— Да, ты уж у нас, известно, святая душа. Откуда тебе людей знать? С твоим-то характером.

— И тебе не советую болтать, — сухо проговорила Вера Ва-

сильевна, заранее зная, что Митрофанова не последует ее совету.

А ночью в дежурке раздался звонок. Он разбудил Веру Васильевну. Не поднимаясь с дивана, она протянула через голову руку и взяла трубку. Звонили из госпиталя. Усталый женский голос деловым тоном ставил в известность, что Иван Иванович Емельянов умер час тому назад.

— Да как же так? — тоже усталым голосом спросила Вера Васильевна.

— Острый сердечный приступ, — ответили из госпиталя.

— Да нет. Как же так сразу? Он только что разговаривал со мной, сын у него заболел, просил присмотреть.

Но в трубке раздался не то вздох, не то зевок и слышались частые гудки.

Вера Васильевна положила трубку. Просил присмотреть за сыном. Это его последняя просьба. Она привычным движением поправила волосы и вышла из дежурки.

Ох, война! Как ожесточились люди. Вот эта, из госпиталя, какая равнодушная! И винить-то ее не за что: насмотрелась, как люди умирают. Ей все равно.

9

В номере тускло светила одна лампочка на письменном столе. Ася сидела на диване и дремала, положив руки на раскрытый альбом с фотографиями. Но она сразу же встрепенулась, как только Вера Васильевна приоткрыла дверь.

Увидев мать, спросила:

— Он еще не вернулся?

Она спрашивала о Сенином отце. Вера Васильевна покачала головой и тоже спросила:

— А тут как?

— Кажется, заснул. А то все бредил.

— А если это не бред?

— Тогда что?

— Если все правда, что ему наговорили?

Но Ася вместо ответа показала фотографию в альбоме.

— Вот она. Видишь, какая.

Молодая красивая женщина у санитарного самолета. Тонкое лицо, смелые брови, веселые глаза. Немного, может быть, само-

уверенные и гордые. Такие же, как и у молоденького парня в летном шлеме. Они стоят рядом — врач и летчик, и оба, несмотря на обыденность того, что им предстоит сделать, выглядят немного торжественно. Может быть, оттого, что они смотрят в объектив аппарата, у них такие торжествующие лица.

Нет, такие не изменяют. Не умеют и незачем. Вот именно так и хотела ответить Ася, и Вера Васильевна так ее и поняла. Она обняла дочь, радуясь, что они одинаково подумали.

Прижимаясь к матери, Ася начала перелистывать альбом. Она шепотом, чтобы не потревожить, рассказывала о каждой фотографии. Каждый шаг этой строгой торжествующей женщины вызывал Асино восхищение. Вера Васильевна с грустью подумала, что никогда никакие ее поступки не вызывали со стороны дочери ничего похожего на восхищение. Стараясь не выдавать своей зависти, она спросила:

— А вдруг все правда? Ведь бывает же...

Ася возмущенно захлопнула альбом и, мягко ударяя кулаком по пухлой крышке, проговорила:

— Нет, нет, нет!

— Ты знаешь ее только из его рассказов. А он — сын.

— Я ему во всем верю. Оч верю. Во всем.

— Ее могли заставить. Ведь не все такие сильные, чтобы вынести. ...Все пытки.

— Она бы все вынесла.

— А если нет?

— Тогда он откажется от нее.

— Ты так думаешь? Она — мать. Ты бы меня не пожалела?

— Мама, ну как ты можешь так думать!..

— А я бы и пожалела. Как, например, слепого или горбатого. Разве они в чем виноваты? — сказала Вера Васильевна и тут же поняла, что не надо было этого говорить.

Посмотрев на мать снисходительно и жалостливо, именно как на слепого или горбатого, Ася вздохнула:

— Ты у меня добренькая. Ты успокойся, тебя бы, наверное, я пожалела бы...

— Ох какая ты, — раздраженно проговорила Вера Васильевна. — Ты бесчувственная, что ли. И все, конечно, оттого, что мала и сама еще ничего не испытала.

Ася сжалась в углу дивана и зафыркала:

— Да, уж это конечно, мала и глупа...

— А ты как еж. — Вера Васильевна поднялась. — С тобой разговаривать, все равно что ежа гладить.

Она повернулась к двери, но, вспомнив, зачем пришла сюда, остановилась. Надо сказать Асе о смерти Емельянова. А как сказать? Из темного угла, где стояла кровать, доносилось трудное дыхание больного человека.

— Надо бы врача, — проговорила она шепотом.

— Завтра.

— А тебе спать. Уже первый час.

— Подожду еще. Иван Иванович придет, тогда и лягу.

— А если не придет? Не скоро если придет?

Увидев, какое растерянное и даже испуганное лицо сделалось у мамы, Ася сразу распустила все ежиные колючки.

— Тогда и лягу не скоро. Да ты, мамулька, не волнуйся. Я высплюсь. Вот тут прилягу и посплю.

Она и в самом деле положила голову на диванный валик и крепко зажмурила глаза, но сразу же открыла их и помахала рукой:

— Иди, иди...

А утром кто-то ей уже все рассказал, она пришла к матери и сама спросила:

— Ты мне почему ночью не сказала про Сениного папу? Ведь ты знала, да?

Ее лицо побледнело и опухло от неудобного сна и от слез, и когда она говорила, то губы ее все еще вздрагивали. У Веры Васильевны тоже задрожали губы и руки. Чтобы скрыть эту дрожь, она, как и все безвольные люди, вспыхнула и заговорила злым голосом:

— Ну и знала, и не сказала. И не твое дело во все вмешиваться. Отправляйся домой...

Выслушав все, что мама могла сейчас сказать, Ася успокоилась и подождала, пока мама выговорится и тоже успокоится. Когда мама, наконец, замолчала, она спросила:

— Теперь, значит, его из гостиницы выселят?

— Я уже сказала: не твое дело.

— Обязательно выселят или не обязательно?

— Не приставай. Обязательно.

— А куда?

— Не знаю. В детский дом, наверное. Не знаю...

Ася подумала и сказала:

— А я знаю. К нам.

— Ты что это придумала?

— Ну, мама, куда же ему?..

— Ему найдут место. А у нас одна комната и одна кровать.

— Зачем нам считать комнаты и кровати?

— Да мы не можем!

— Можем. Еще как! Я могу спать на сундуке.

Оказывается, Ася все уже решила и так обстоятельно и определенно, что мама сразу перестала возражать.

— Спорить с тобой, сама знаешь, у меня нет сил...

Она устало прикрыла тонкими веками необыкновенные глаза. Она уже сама решила поселить Сеню у себя до тех пор, пока все определится, но ей хотелось, чтобы это предложила она сама и чтобы Ася посмотрела на нее, нет, не восхищенно, а хотя бы просто с благодарностью. Но вот — не успела.

— Делай, как знаешь. Я могу ночевать и здесь на диване.

10

Маленькое серое окно. Качаются черные ветки, и с них капает вода. И стекло тоже все в полосах от дождя, как бывает осенью или весной.

...Сеня открыл глаза, и с этой минуты для него началась новая, совсем новая жизнь.

Эта жизнь так была не похожа на все прежнее, что он в первую минуту растерялся. Все оказалось не так, как было до сих пор. А как? Вот этого он еще не мог понять, не мог перекинуть мостика от старого, привычного к тому, что началось сейчас...

Открылась дверь, и вошла Ася стремительно и бесшумно. Увидев Сенины глаза, темные на бледном лице, она испуганно и вместе с тем восторженно прошептала:

— Ого! Ты проснулся? Смотри-ка!

Девочка торопливо прошла к столику в дальнем углу комнаты, оставляя на полу мокрые следы. С мехового воротника ее пальто скатывались капли дождя. И с коричневой клеенчатой кошелки тоже. И в комнате сейчас же волнующе запахло ветром и дождем. Как хорошо! Сеня закрыл глаза, и ему показалось, что

он идет вдоль бесконечного серого забора, прячась от дождя, и вдыхает прелый запах мокрых досок. И еще ему вспомнился запах леса. Дорога, влажная после дождя, и сквозь заросли сосен и елей сверкает большая река. И лес, а в лесу так же пахнет после дождя, как мокрые доски, которые в это время, может быть, вспоминают, как они были деревьями.

Сейчас эта догадка показалась ему вполне вероятной. Много из того, что здоровым людям кажется чудесным и невероятным, больные принимают как обычное и вполне возможное явление. Больные и дети.

Веки его задрожали и как бы всплыли на горячих слезах.

Ася, уже без пальто и шапочки, наклонилась над ним.

— Вот и температуры нет, — проговорила она. — Ой, как ты нас всех напугал!

— Это я где нахожусь?

— Ты у нас находишься. В нашей комнате. И больше ты ничего не спрашивай. Это тебе вредно — много говорить...

— Ожгибесову я не верю! — задыхаясь от волнения, крикнул Сенья. — А что говорит папа?

— Да, да. Никто ему не верит. Ты успокойся. Никто. Оказалось, что твоя мама — герой. Она в тылу у немцев выполняет задание. А этот Ожгибесов просто псих. Он просто несчастный. Он в самолете горел, потом еще его немцы расстреливали, вот он и стал таким.

— Где он?

— Он в госпитале.

— Нет, папа где?

Ответа не было так долго, что Сене показалось, будто Ася отодвинулась куда-то далеко и вся заволоклась серым туманом. Ее голос еле дошел до него:

— Он скоро вернется. А ты теперь спи, а потом я тебя накормлю. Вот картошки купила на рынке.

Сене хотелось задать еще много вопросов, но у него не хватило для этого силы. Так он и не узнал, где этот мостик, по которому перебрался на неизвестный берег новой жизни. А может быть, никакого мостика и нет? Он просто переплыл эту реку?

Чужая постель, чужой хлеб. Вот с чем он столкнулся, еще не успев сделать ни одного шага в новой жизни. А он еще никогда не съел ни одного куска чужого хлеба.

Ася рассудительно посоветовала:

— А ты бы не думал об этом пока. У нас две карточки, мамина и моя. И помогают тоже: из театра приходили, приносили кое-что. И еще помогут, хороших людей много, с голоду не умрем.

В этот вечер Сеня впервые поднялся с постели. Он хотел подойти к окну, но дотянулся только до конца кровати, дальше не хватило сил. Прибежала Ася и с ходу напустилась на него:

— Рано тебе еще вставать! Смотрите, что придумал — сидит тут в темноте. Ложись-ка, ложись.

— Не лягу, — бледным голосом прошелестел Сеня, — совсем больше не лягу. Сколько можно...

— Ой какой! Еще и рассуждает.

— А ты не командуй.

Проговорив это, Сеня прислонил голову к подушке. Помогая ему улечься поудобнее, Ася приговаривала:

— Я ведь не командую, я как лучше, и ты не возражай. Сейчас «Кузьку Конского» запалим.

— Какого Кузьку?

— Ах да, ты же не знаешь. Вот он, «Кузька Конский».

Она покрасневшей от холода ладошкой похлопала по железной печурке и тут же все объяснила. Есть в городе такой умелец — Кузька Конский — мастер на все руки. У него собачий нюх на всякие несчастья и беды, и он всегда появляется там, где без него не могут обойтись. Если случится перебой со стеклом, является Кузька, вставит стекло и уж тут не растеряется, цену возьмет подходящую. Он и полы покрасит, но только в том случае, когда необходимых материалов нет в продаже или мастеров днем с огнем не сыщешь. Настоящее его имя Кузьма, но все в городе называют его Кузька и Полчеловека. Это потому, что он — урод. Самый настоящий. Широкое туловище на таких кривых ногах, которые и на ноги-то не похожи. Скорей на половинки колес. Руки у него длинные, почти достающие до пола, а голова большая и вся в разноцветных волосах. Урод. Ящик на колесах. За то и на войну его не взяли.

Сейчас он промышлял железными печурками. Вот эту он тоже принес и сам установил. И чтобы у хозяев сомнения не было, сам и затопил. Послушав, как гудит пламя в трубе, подхвалился:

— Вот вам и Кузя Конский — беда и выручка. Давай, хозяйка, радуйся, благодари мастера.

— Ох ты, мастер, мастер, — вздыхала мама, отсчитывая деньги. — За такую цену десяток печурок купить можно.

Ася посмотрела ему вслед и посмеялась:

— Печурка-то на него похожа. Смотри. Такая же кривоногая. Вот так и получила печурка свое имя. Она беда и она же выручка. И ничего тут не поделаешь.

Рассказав все это, Ася заторопилась.

— Сейчас «Кузьку» распалим, и нам будет хорошо.

11

И в самом деле им стало хорошо. Печурка, разгораясь, весело потрескивала и постукивала жестяными трубами, стенки ее розово зарделись в темноте, и от них заструилось по всей комнате нежное тепло.

Ася бережно подкладывала мелкие дровишки так, чтобы они веселее горели и давали больше тепла и света. И ее лицо, освещенное дрожащим огнем, тоже казалось нежно рдеющим в полумраке. Она очень пристально смотрела на огонь и негромко говорила:

— Ты когда-нибудь думаешь, как будет? Ну вот, кончится война, и всего у нас будет вдоволь. И мы будем делать все, что захотим.

Она в своем стареньком красном свитере, вся позолоченная огнем, сидела тихо, и большие глаза ее были задумчивы, словно она прислушивалась к своим мечтам о будущей жизни. А на алой стене за ее спиной покачивалась и вздрагивала черная тень.

— А потом... — Она восторженно вздохнула. — Ты сделаешься знаменитым музыкантом. Самым знаменитым! И ты проедешь все города и страны. И, наверное, все забудешь, что мы переживали...

— Нет, — ответил Сеня, — я не забуду.

— Правда?

— Конечно. Как я могу забыть? Ведь мы всегда будем вместе. Хорошо?

Ася выпрямилась на своей скамеечке, забросила косы за спину таким широким взмахом, словно это и не косы, а крылья. Строго спросила:

— Ты так хочешь?

— Да! А ты?

— Я? Очень.
— И я очень. Ты хорошая.
— Ты тоже самый лучший из мальчиков.
— Ты меня совсем не знаешь.
— Знаю. С самого первого вечера, когда ты играл. Ты будешь знаменитый музыкант.

— А если не буду?
— Будешь. У тебя талант. Это говорят все.
— А может быть, все ошибаются?
— Как же все? Так не бывает, — убежденно проговорила Ася. Помолчала и, глядя на огонь, спросила: — А знаешь, кем я буду?
— Знаю — балериной.
— Нет, не угадал.
— Значит, актрисой. Все девчонки об этом только и мечтают.
— А вот и не все...

Тут в разговор вмешался «Кузька Конский»: он щелкнул своим огненным языком и выплюнул золотой уголек, прямо к Асиным ногам. Она ловко подхватила уголек, бросила обратно в огненную пасть, но ладонь все-таки обожгла. Подула на обожженное место и, разглядывая его, сообщила:

— Я буду врачом.
— Обожглась и решила.
— Нет, правда. Это я давно уже решила. Когда ты показывал альбом. И потом, когда все узнала про твою маму, тоже решила, что буду всегда, как она. И с парашютом выучусь прыгать. И всегда буду с тобой, как она. Ты ведь тоже так хочешь?

Она посмотрела на свою ладонь. Он спросил:

— Болит?
— Так, немножко. Какая же это боль.
— Покажи.

Она послушно протянула руку. На тонкой ладошке едва заметное розовое пятнышко. Сеня подул на него и, совсем неожиданно для себя, как будто это была мамина ладонь, поцеловал пятнышко. Ему сейчас же сделалось очень жарко, но Ася не отдернула руки, спросила:

— Полечил?
— Да.
— Вот мне и хорошо.
— Это, я когда был маленький, мама так меня лечила.

Ворчливым голосом няньки Ася проговорила:

— Вот и опять лихорадит. Знала бы — не сказала.

— Ничего, — ответил он, сжимаясь под одеялом, чтобы унять противную дрожь, — ничего. Ты не бойся...

Ему хотелось сказать ей, как он устал томиться от неизвестности и что совсем не в том состоит забота и любовь, чтобы оберегать друг друга от ушибов и закутывать в одеяла. Не только в том. А в чем — он сейчас еще не знал. Да у него и сил не было на такой большой разговор. Но Ася и так все поняла.

— Я и не боюсь. Ничего я не боюсь, и ты это знаешь. А тебе я во всем верю. Ты спи. Я тоже лягу, пока не ушло тепло.

Тепло стоило дорого, его надо было беречь: не прозевать закрыть трубу, чтобы «Кузька Конский» не высвистал весь жар; да не полениться поплотней завесить окна и дверь; да набросать к порогу пестрых тряпочных дорожек; самое главное — поскорей забраться в постель и с головой укутаться одеялом. Вот тогда будет по-настоящему тепло. По крайней мере, до рассвета. Тепло надо, надо беречь.



Геннадий Солодников

ПАДАЕТ СНЕГ

Глухую тишину и острую грусть приносит первый снег. После разноцветья ранней осени кругом долго стоит забивающая остатки блеклой зелени чернота. Придет зима, все будет выбелено, упрятано, сглажено. А сейчас весь мир кажется сотканным, как бедный половик-заскребыш, только из черного и белого. Рядом с белым черное стало еще темнее и гуще. Снег припорошил землю скудно, лишь очертил борозды на полях, обнажил

щели на крышах, еще больше выпятил на дорогах колени и колдобины.

Пал на землю первый снег, и теперь отовсюду веет пустотой, неприбранностью, печалью.

Как давно это было... По такому вот осеннему кочковатому проселку возвращался когда-то Никифор, молодой, сильный. Довольный удачной сделкой, он вел домой с дальнего базара корову. На последней ночевке застал его снег-перволётток. Он как-то вдруг, разом напомнил о времени, о тех неделях, что Никифор не был дома. Затосковал мужик, ночь тянулась долгая, рваная. Совсем близко родная деревня — один дневной переход. А там — жена, Настасья, Настенька. Вот-вот родить должна.

Добрался он далеко за полдень, к вечеру. Распахнул ворота, загнал корову в стойло, бросил навильник сена. Не торопясь все, с расстановочкой, только дрожь в руках никак унять не мог. Неспроста, знать, в деревню прошел задами: боялся, что соседи задержат разговорами о покупке.

Удивился, когда на крыльцо выскочила лишь мать. Запричитала:

— Никифорушка!

Не сразу понял, с чего это она: с горя неожиданного или с великой радости.

Потом уж о главном сказала:

— Сын! Витюшкой назвать ладим.

Это все дорога дальняя виновата, умаяла его. Приросли ноги — не сдвинуться. Растерялся Никифор. А самому кричать на всю деревню хочется о сыне своем, о радости; а то бы еще силушкой с кем-нибудь померяться...

Десятки раз с той поры падал на землю снег. Таял и возвращался снова. Десятки долгих лет... И нет уже того крепкого деревенского парня Никифора. Идет теперь по дороге Никифор Кузьмич. Коробится на нем старенький полушубок: только что, видно, с печи — под головой лежал. Ноги в разбитых сапогах оставляют на белом снегу смазанные сзади частые следы.

Хорошо знает Кузьмич, какой день сегодня, потому и направился спозаранку в село на субботний базар. Знает Кузьмич, что долго будет слоняться меж возов, толковать с мужиками о деле и просто так, «соображать» с приятелями «на троих» и опять ходить по рядам. И так — весь длинный день. Домой, на заброшен-

ную мельницу, он вернется поздно, со звездами, когда старуха будет уже вовсю спать.

Больно тосклив этот октябрьский день для старика, сердце бедит, всю душу выворачивает...

До сих пор помнит Кузьмич ту оглушительную тишину, что нахлынула вдруг, когда оборвался плач Настасьи. Впервые в тот миг он почувствовал одиночество. Одиночество их двоих в старой избе на стылой речке Ключевой. Казалось, не четыре версты, а тысячи отгородили их от самого близкого жилья, и метровые снега начисто перемели все дороги. И ничего нет вокруг, только тишина. Звонкая, нестерпимая тишина.

Они вернулись тогда из села от Настасьиной подружки. Морозным декабрьским вечером та праздновала долгожданное возвращение сына из армии, с войны. Они вошли в свою избу и остановились в проходе на кухне, не зажигая огня. Холодный свет полной луны лился через окно на сиротливо опрокинутые на полку стеклянные банки, на выцветшую клеенку подле печи. Посверкивая в этом потоке, сухо отщелкивал секунды маятник ходиков.

Настасья, охнув, захватила ладонями голову, закачалась, заговорила чуть слышно:

— Ты! Один ты, Никифор, виноват, что ушел от нас Витюшка сиротой-безотцовщиной! — И заголосила, припав лицом к столешнице.

Хотелось Никифору обхватить жену за плечи, уткнуться в ее мокрый от снега полушалок и зареветь с ней не стыдясь. И говорить, говорить сквозь слезы о том, что знает он про свою вину, сам казнит себя, мается.

Сколько раз и раньше, и после ругал Кузьмич свой нескладный норов. Ведь столько тепла иногда в душе, столько ласковых слов на язык просится. А вместо того чтобы сказать их, или накричит на жену, или промедлит, застесняется непривычных чувств. И уйдет подходящее время, будто кто спугнул его.

И тут промедлил Никифор. Настасья так же резко оборвала плач, встала и ушла в горницу.

С того самого случая не может Никифор Кузьмич в день рождения сына быть дома. Все норовит куда-нибудь уйти. Стыдно даже себе признаться — побаивается: а вдруг старуха опять заведет разговор о Викторе. Как подумает об этом Кузьмич — не по себе становится. Ноет утомленное сердце, мозжит, как старые кости...

Остановился Кузьмич на пригорке передохнуть. Тишина. Слово этот рыхлый, сырой снег поглотил все звуки. Лишь тонко и больно что-то звенит в ушах.

Сошел с дороги, смахнул с пня белую шапку, сел. Снежинки-однодневки сразу свернулись, заискрились бисером на иссеченной трещинками темной руке. Кузьмич обтер ее о колено, пошарил за пазухой, достал тонкий пузырек из-под лекарства. Долго выковыривал загрубелыми пальцами пробку, потом ткнул щепотью в усы, сильно потянул носом. После второй понюшки стихла звень в ушах: может, совсем перестала, может, привык к ней.

Хороший у него табак, такую слезу прошиб. Просветлел Кузьмич лицом, обвел вокруг взглядом.

До чего тут все знакомое, родное. Сразу за ложком, слева, пошли пепельно-голубые частые осинники. На ближней опушке темнеет на стволах ровная полоса, словно какой-то озорник навел ее кистью.

Не забыть Кузьмичу той военной зимы. Очень уж голодной была она для людей, холодной и снежной. С первых недель все сыпало, сыпало и сыпало. Зайцы и те оголодали, набросились на молоденький осинник. Годы прошли. Деревья окрепли, вытянулись. Но вместе с ними поднялись и зарубцевавшиеся ранки.

Зашагал дальше Кузьмич, еще больше сгорбился. Потухли глаза, скользят по темной полосе, что прошла по корью осин.

День уж такой выдался, что ли, — не уйти, знать, тебе, старый, ни от себя, ни от той снежной зимы, когда распластнула душу кровавая рана... А не хитришь ли ты, Кузьмич? Зимой ли начало ныть твое сердце? А разве то, что случилось раньше, забудешь? И не оно ли раз в году гонит тебя из дому?

Нечего ответить Кузьмичу. Что было, то было. Было...

По Акчиму неслись бревна, бешено крутились в водоворотах, с разгона ухали о плавучие ограждения в устье реки Ключевой. В мелких, заросших травой заводях металась ошалелая щука. Икряные, нетерпеливые, они лезли в теплую воду, чуть не на самый берег. Потом, измученные, со впалыми боками, засыпали тут же на мелководье и солнцепеке. Вокруг студенистых комочков вертелись, били по воде хвостами захмелевшие самцы.

Этой весной сорок первого года и влюбился Витька. Влюбился в отчаянную Соньку — кассиршу из клуба. Года на три была она его старше. Нехорошая слава ходила о ней по селу. «Не девка, а

сестра милосердия», — понимающе посмеивались бывалые мужики. Бабы за глаза и прямо в лицо называли ее дикошарой. А Витька взял да и влюбился, как можно влюбиться только в восемнадцать лет, и ни знать, ни слышать ничего не хотел.

— Беда, загулял парень, — сокрушалась Настасья. — И хоть бы с путней.

А Никифор помалкивал, посмеивался в усы. Пусть по весне побесится, возраст уже.

Но когда в разгар лета, перед сенокосом, услышал, что Витька чуть ли не жениться на кассирше собрался, взбушевал не на шутку. Жениться! Да он, Никифор, семьей обзавелся уж в тридцать, после того как две войны прошел. «Вот, молокосос, обрадовал! С шалавой породнить захотел...»

В те годы — не то, что сейчас, — крут был Никифор. Прав не прав — рубил с плеча. Крупно поговорил с сыном, выражений не подбирал. Витька не защищался. Знал: не любит батя, когда ему перечат. Слушал молча, лишь по-отцовски ломал бровь. Никифор даже залюбовался сыном. Ишь ты, характер. В отца! Много не болтает, а своего держится. Но тут же мысленно обругал себя: «То же мне, растаял!» — И грубо бросил парню вслед:

— Долго не шатайся! Чуть свет на покос едем.

Но утром на сеновале, где Витька обычно спал летом, его не оказалось.

Никифор со злости так литовкой пластал, чуть не сломал ее. Дважды с маху в пни всаживал. Добро, что трухлявые попадались.

Настасья с опаской поглядывала на него. Росла в сердце тревога. А тут еще такое случилось, хоть вовсе к мужу не подходит.

В глубокой яме-бочажине на Ключевой заприметил Никифор стайку крупных хариусов. На самом покосе, у стожья. Как тут устоишь перед соблазном! Заранее удочку приготовил. Не пожалел, потратил вечер, новую леску ссучил — в четыре конских волоса.

Прихлопнул Никифор у себя на потной рубахе паута, насадил. Осторожно ступая по мягким кочкам, подобрался к берегу, легонько перекинул леску через ивняк и присел на корточки, сквозь прутья следя за поплавком. Ждать долго не пришлось. Рванул Никифор удилище... Леска тихо тинькнула, в воде шумно забултыхалась рыба. А он все стоял, потерянно смотрел на кончик скрутившейся лесы; в руке его подрагивало удилище.

Опомнился Никифор, матюкнулся на весь лес и пошел к остожью. Достал из-под пня фляжку с брагой, запрокинул голову. Тут как раз на тропке показался Витька.

Никифор ждал его у телеги, теребя короткопалой рукой свернутые восьмеркой вожжи. Потом шагнул навстречу.

Витька задержал шаг, растерянно глянул по сторонам и начал медленно пятиться. Отец надвигался на него. Витька видел красное, рассерженное лицо, вожжи в набрякшей руке. Хотел остановиться, заговорить с ютцом, но не мог. Наткнувшись спиной на гибкий ствол черемухи и уронив что-то, он вздрогнул и оглянулся. В траве лежала его литовка.

С испугу ли, а может, с отчаяния — куда тут денешься — ошалел Витька. Резко нагнулся, схватил литовку, качнулся к отцу:

— Не подходи!

Зарябило в глазах у Никифора от ярости. Затрясся весь.

— Т-ты на отца — руку... Уходи с глаз! Уйди!

Хватил вожжами по кустам — листья брызнули во все стороны. Повернулся круто и пошел к телеге, навстречу Настасье...

— Куда? Заступница!

Настасья споткнулась, вскинула руки:

— Витенька-а-а!

Виктор не оглянулся. Он быстро уходил по тропинке назад, на мельницу. Издалека казалось, что он шарит глазами возле тропы перед собой, как будто потерял что-то.

К концу дня отошел Никифор. Себя больше винил: «Распустил психа-то, дьявол!» Настасье, конечно, об этом — ни слова. Окажись вечером сын дома, накричал бы на него Никифор, на том и ссоре конец. Но Витька, верно, крепко обиделся, собрал свою одежонку и ушел к Соньке в село.

Через несколько дней началась война, и уехал Витька с первым вшеломом. Прибегал он проститься, только мать и застал. Никифор уходил на покос. Вернулся, а Настасья сама не своя.

Недолго приходили от Виктора скупые на слова солдатские треугольнички. В метельный февральский день сорок второго на затонувшую в снегах мельницу принесли четырехугольный конверт с казенной бумагой.

Что с Настасьей было, про то она одна знает. Все-таки бабы, видать, сильнее мужиков в горе. Или слезы им дают облегчение?

А Никифор в тот вечер напился дотрезва. Глушил стакан за стаканом — хоть забыться, что ли. Или развевется бы. Пьяному-то никакого стыда... Но чем больше пил, тем сильнее трезвел. Только голову крепче стягивало, будто железным обручем, и жерновами ворочалась мысль: «Не поправить теперь ничего».

...Рынок закрутил, растормошил Кузьмича. Среди скрипа возов, лошадиного ржанья, базарного гомона короткий осенний день пролетел мигом. Но вот все затихло, опустела площадь. Звали мужики Никифора: попутно подбросим, дескать, до отворота на мельницу. Отказался. Нечего ему сегодня там делать, что он дома-то не видел!

И снова Кузьмич один. Идет за околицу, где на дорогу бросают свет широкие окна чайной.

Заглянул в окно: есть ли свои? С крыльца хорошо все видно. Пусто, только в углу за крайним столом трое сидят. Да это же Вася-партизан. Из-за черной повязки на глазу его ни с кем не спутаешь. Опять, наверное, рассказывает про свою молодость, потешает мужиков.

Вот ведь тоже — за семьдесят старику, а так и зовут с озорного детства — Вася. Потом «партизан» к нему пристало. Не упомянул Кузьмич, в каком точно году это было, где-то после двадцатого вскоре. Раздобыл Вася трубу железную, толщиной в руку, и задумал на Октябрьскую устроить салют. Заплющил один конец трубы, залил изнутри оловом, пропилил прорезь-глазок, приколотил к колоде. Словом, обычный «поджиг», какими ребята баловались, только размером раз в двадцать побольше. Зарядил его — пороху не пожалел, — вогнал пыж. Под вечер это было, на берегу реки. Народ подгулявший вокруг собрался, девки повизгивают от страха и нетерпения. А Вася, грудь колесом, над пушкой своей колдует.

— Отойди! Палить стану!

Пальнул... Как раз по прорези труба лопнула. Васе левый глаз выжгло. Болел долго, а поправился — в район стаскали, в милицию. С тех пор и стал он Вася-партизан.

Хотел уж было Кузьмич скрипучую дверь чайной толкнуть, да замешкался.

Васе что — он веселится. И мужики зубы скалят, все заботы — побоку. А он, Кузьмич, сегодня отбалагурил свое. Прошел день, и опять подступила тоска, стиснула сердце.

На язык ведь он тоже остер, бывальщин знает — не переска-

жешь в неделю. Всю германскую и гражданскую прошел, Махно гонял, в Забайкалье Семенова добивал. Есть что вспомнить. Но раз не в настроении — будет сидеть, хлопать глазами.

Хуже нет, когда кто-нибудь говорит: «Ну, Кузьмич теперь скажет, куда нам до него! Давай-ка, Кузьмич. Как вы в Варшаве к мадам в гости ходили?» А ты отмахнешься, промолчишь. Ну, нет сил слово сказать — и все тут. И чувствуешь себя по-дурацки. Люди ждут от тебя чего-то, а ты сидишь перед ними молчуном бестолковым.

Нет уж, лучше не заходить.

Глянул Кузьмич еще раз в окно. Вася-партизан голову запрокинул, бородаща трясется. Ну и хохот стоит там! А здесь ничего не слышно. Прислушался — звенит. Не то в ушах, не то провода поют.

Гудят столбы на обочине, да чуть похрустывает под ногами подстывшая дорога. Хоть и снег идет, а сумеречно. Небо низкое, серое, вечер накатил быстро.

До леса еще далеко. Длинной кромкой, во всю ширь темнеет он впереди, а вокруг расстилаются лишь черно-белые пустынные поля. И он, Кузьмич, один-единственный путник на дороге.

А на мельнице сейчас совсем глухо. Обволокло ее всю липким снегом. И темень. Только небольшие окна чуть светятся. И через этот свет накосо снежинки летят. Как это сегодня сказали ему? «Тоскливо вам одним-то на отшибе. Изба хоть и маленькая, да, поди, пустой кажется. Особенно Настасье. Она частенько все одна да одна...»

Невольно прибавил шаг Кузьмич, заторопился, пока не дошел до развилки.

«А что Настасья подумает? В этот день и в такую рань...»

Чертыхнулся вслух даже... Да что она, следит за ним? Дел, что ли, у нее мало! Да и невдомек ей, что он раз в году нарочно домой не торопится. Где ей, старой, подметить, толку не хватит...

Настасья и вправду не ждала старика, когда хлопнули ворота и звякнула щеколда. Вот заскрипели ступеньки в сенях, тяжело, неторопливо. Кто-то долго нащупывал скобу на дверях. Вошел. Знакомо засопел у порога. Необычно громко стукнули о пол сапоги.

«Сообразил» с кем-то Кузьмич, — решила Настасья и глянула из-под очков на старика, когда он появился в проходе. — Ну, сейчас опять придерется и пойдет ворчать...»

Старенькие очки, что повисли на носу Настасьи, — неприкосновенная собственность Кузьмича. Она надевала их редко, лишь по вечерам при электрическом свете. Кузьмич всегда ругался, увидев на старухе свои очки:

— Опять их напялила! Сколько говорю, поезжай в район к врачу, выпиши. С моими глаза вконец изуродуешь.

Но тут он тяжело опустился на лавку, шумно вздохнул:

— Дернул я, мать. Воодушевился немножко. — Посмотрел виновато на старуху. Хотел сказать свое обычное присловье: «Я ведь не пьяница. Я любитель выпить», но промолчал.

Чисто в избе после стылой дороги. Тепло и распаривает всего. Настасья в углу под лампочкой примостилась; уютно шуршит материей по столу, шьет что-то.

Захотелось Кузьмичу сказать ей слова хорошие. Но снова эта самая штука, как в тяжелом сне: хочешь крикнуть — рот разеваешь, а звука нет. Только и повторил:

— Дернули с осиновскими мужиками по маленькой. Больно тоскливо.

Настасья еще раз посмотрела на старика, проговорила нараспев:

— Не велика беда.

Не выдержал Кузьмич. Не вставая, подвинулся на лавке, против самой печки нагнулся, выволок кованый сундучок, где хранился сапожный инструмент.

— Вечор говорила, валенок прохудился?

Пригнул голову к коленям, начал шарить в сундучке, загремел баночками с гвоздями.

Настасья завязала узелок, откусила конец нитки, сухо сплюнула, глянула на Кузьмича.

— Ты бы не маялся, старый, — мягко заговорила вдруг она, — не убивался. Война все перековырнула. Не война, кто знает, как бы еще все уладилось-то...

У Кузьмича выскользнуло шило, стукнулось об пол и покатилося по кривой к умывальнику. Встал старик, дрожащей рукой откупорил пузырек с табаком, торопливо опрокинул его над ладонью.

Крепка была понюшка. Махнул Кузьмич рукавом по глазам, отвернулся к окну, выдохнул сдавленно:

— Ядреный, слезоточец!

Поводил ладонью по отпотевшему стеклу, прильнул к нему.

Во дворе все шел и шел печальный глухой снег. Еще сильнее сгустилось вокруг мельницы позднее лесное безмолвие, нависла темнота.

А в избе было светло. Бойко пощелкивал маятник, ворковало в горнице радио. И по-домашнему, тепло, шуршала материя в руках Настасьи.



Виктор Астафьев

РУКИ ЖЕНЫ

Он шагал впереди меня по косогору, и осклизлые камни по макушку уходили в мох под его ногами. По всему косогору неслышно сочились ключи и ключики, притягивая к себе клочья резучей осоки, звонко ломающихся купырей, веники смородины, заросли низкорослого ивняка и черемушника.

Я видел только спину Степана Творогова, то исчезающего в кустах, то появляющегося на чистине. На этой спине, под просолен-

ной рубахой, напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напряжен, собран в комок, готовый держаться корпусом, если начнет падать. Рук у него не было, и больше держаться ему на земле было нечем.

Иногда он падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это, чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, и так же быстро вскакивал и шел дальше.

Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за что придется. Об осоку, по-змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался, думая, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге.

Один раз он обернулся и участливо спросил:

— Уморились? — И, не дождавсь ответа, предложил: — Тогда давайте посидим.

Я сел возле ключика, который выбуривал из склона и кружил в маленькой луночке белый песочек и головастого муравья.

— Охмелел, — улыбнулся Степан, кивнув на муравья. Он взял култышками сучок, поставил его утопающему. Тот уцепился за веточку, посидел маленько, очухался и рванул в траву — видно, вспомнил про жену и семейство.

Степан сидел, сунув обрубки рук в колени. Я уже заметил, что он всегда так сидит, как бы прячет култышки с подшитыми рукавами. Белесоватые ресницы его были смежены, но сквозь них светились внимательно присматривающиеся ко мне глаза.

Напившись из ключа, я курил. А Степан сидел просто так, вроде бы думал или скучал. Рядом лежало его ружье, а на груди, возле самого подбородка, висел патронташ. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. А курок он спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Сено косил с помощью ловко приделанной к литовке ручки. Плотничал топором, у которого было особое, им же смастеренное топорщице. Он все умел делать и все делал по-своему, постоянно изобретая, приспособляясь. Один раз во время гулянки кто-то обидел его жену Надю. Он отлупил обидчика. Уж не знаю, как и чем отлупил, но, говорят, того еле отняли.

Руки Степану оторвало на шахте, взрывчаткой. Было ему тогда девятнадцать лет. Нынче нет шахты в поселке — выработались пла-

сты, загдох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов: лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова — бывшего шахтера.

Он все делал сам: пилил, копал, стругал, косил, добывал пушнину.

Обо всем этом я уже расспросил, и все-таки оставалось еще что-то такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привезти очерк о безруком герое, лучшем охотнике «Райзаготпушнины».

— Поздно вы приехали, — посочувствовала мне Надежда. — Веснись надо было. Степа тогда пушнины на три годовых нормы сдал, а сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме. Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается.

— У человека наказ, — строго сказал Степан, — есть или нет у нас процент — это начальство мало касается. Отдай работу, и все. Обскажите, что и как. — И, помедлив, добавил: — И попало же вам заданье! Ну что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей, может, там чего подходящее сыщется...

Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжело и долго переживала мать грянувшее горе — Степан у нее был единственным сыном, а «сам» без вести пропал в «нонешнюю войну», и все-таки, все-таки...

— Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю? — с усмешкой прервал мои размышления Степан.

— Да... собственно, нет, — смешался я, — просто хотелось пройтись по уральской тайге, посмотреть...

— Посмотреть? — сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах ему тотчас задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне: — Сейчас прилетит! Тут их пропасть, рябчиков-то...

Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву и огляделся с задиристым видом: дескать, которые тут подраться звали?

Степан сшиб его с куста, неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон и, ничего не сказав, пошел дальше, подобрав на ходу птицу.

Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил:

— Вот, смотрите, раз хотели...

И я посмотрел. Передо мной, насколько хватало взгляда, были горы и леса, с паутиной просек, запетленные реками и речушками, в глубоких распадах и логах. Строгий покой угадывался в слегка засиненной дали, величием наносило от огромности того, что виделось глазу. А здесь, на горе, слабо шуршали опадающие с берез листья и трепетал полураздетый осинник, долились от тяжести кистей к земле рябины, в которых незлобно переругивались трескучие дрозды да тонко, умиротворенно потинькивала пеночка.

— Так что же вы решили? — неожиданно задал мне вопрос Степан.

Я пожал плечами:

— Не знаю. — И тут же признался: — Мне будет трудно писать о вас, наверное, ничего не выйдет.

— Конечно, не выйдет, — уверил меня Степан. — Что обо мне писать-то? Что я калека и не пошел милостыню просить, а сам себе хлеб зарабатываю, так это мамкина натура: мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились. — Он немного помолчал и вдруг мягко добавил: — Вы не обидетесь, если я вас покритикую маленько? Как говорится, критика — направляющий руль, да?..

— Где уж мне обижаться? И прошу: называй меня, пожалуйста, на ты.

— Ты так ты, это даже удобней. Так вот. Четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь — что к чему. И все возле меня, да возле меня. А что я? Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее, брат, главный козырь. И всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки так руки! — Он доверчиво придвинулся ко мне. — А без Нади едва ли у тебя чего получится. Уж как я ее люблю, а сказать не умею. Другой раз думаю: выпью, глядишь, ладно скажу, и все равно ничего не выходит. Кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее! — Он на минуту задумался, лицо его сделалось добрым и простоватым. — Да-а, хитрое это дело — высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие, линиялые. Ну да шут с ними, иной раз и без слов все понятно. Вот пойдем со мной, покажу я, может, и расскажу кое-что, не ради чего там, а как мужик мужику...

К поселку шла высоковольтная линия. Ногастые, костлявые опоры растолкали на стороны лес и кусты. Под опорами окопано. Между опорами грузно раскоряченные стога сена. Гудела чуть слышно линия, грозила скрытой силищей.

В одном месте широкую просеку линии наискось пересекал ручейшко, тихий ручейшко, прячущийся в торфянистых кочках и под изопревшей сланью. И все же вытянул ручей на край просеки кособочистую, ветвистую черемуху или сама она выпросталась из урманной темени на свет. Контролер участка отчего-то не срубил деревце, думал, видимо, покорыститься с него в урожайный год, или по каким другим причинам.

Степан остановился подле черемухи, оглядел ее с комля до вершины и чему-то довольно улыбнулся.

Птичьими глазками глядели с ветвей блестящие от сока ягоды на побуревших кистях. Листву уже тронула желтизна. Под черемухой жухла редкая трава и прела с листвою вместе, распространяя грибной запах.

— Сломил-ка мне ветку, — попросил Степан, и я с охотой взялся за дело, наломал целое беремя, бросил на колени Степану. Он брал веточки култьями, подносил ко рту, и срывая маркие ягоды, благодушно ворковал, показывая крепкущие зубы, зачерненные ягодой. — Сладка, холера! Ох, сладка! Рябина да черемуха — уральский виноград!

Потом он отбросил другую ветку и брезгливо сморщился:

— Фу, погань! Весь вкус испортила!

На полуобсохшей ветке сереньким комком соткана паутина, и в ней копошились, жили своей уютной и мерзкой жизнью зеленые червячки. Так вот они и обитают в этой паутине, начисто сжирая листву и молодые побеги черемухи, а когда подрастут, народят такое же зеленое, гнусное потомство, которое целиком дерево не губит, но расти и плодоносить ему мешает.

Степан больше не трогал черемуху, а задумчиво смотрел куда-то поверх леса и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону и спросил:

— Ты чего притих-то?

— Ягоды вот ем.

— А-а! Ягоды на этой черемухе отменные, а мне памятные. — И без всякой околесицы стал рассказывать.

Он рассказывал о том, как в конце августа они шли с Надеждой из больницы вдоль этой высоковольтной линии.

Они не были женаты. И познакомились не так давно, в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала уборщицей в конторе и мыла разнарядку, заплеванную и обляпанную сапогами и спецовками шахтеров. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет шесть в няньках.

Раза три или четыре они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза три или четыре Степан провожал Надежду домой. В троицу они ходили с самоваром на луга. Первый раз там поцеловались. Назавтра Степану оторвало кисти обеих рук.

Беда заслонила от Степана все: и шахту, и свет, и Надежду. Все, кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва, и потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Сделалось страшно потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел два дня, боясь заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Мужики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался и, пылая от жара и стыдливости, думал: «Вот так всю жизнь?»

Ночью он встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижал лицо к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал:

— Степа! Ты не мучайся. Я здесь, около тебя. Дома все в порядке. Мать не пускаю к тебе. Сердце у нее...

Он ткнулся в марлю, порвал ее. В темноте раскаленными от боли култышками нащупал Надю, притиснул ее к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, настойчиво шептала ему сквозь спутанную марлю:

— Худого в уме не держи. Ладно все будет. Не держи худого-то...

А он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался:

— Руки-то жжет, жжет...

И она стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишки на «ваву», и гладить их, приговаривая:

— Сонный порошок попроси. Как-то он мудрено называется, не помню. Во сне-то скорее заживает. Попроси уж, не гордись. И худого не думай... — А сама дула и дула ему на култышки.

И то ли с этого, то ли от выплаканных слез пришло облегчение, и он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к выкрашенной оконной подушке.

Утром он сам попросил мужика, что был попроще с виду, помочь ему справить нужду.

А Надя каждую ночь приходила под окно: днем она не могла отлучаться с работы.

Он отговаривал ее:

— Ты хоть не так часто. Восемнадцать верст туда да обратно...

— Да ничего, ничего, Степа. Я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек байкала, чужих.

В день выписки она пришла за ним, первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок пожитки Степана. Он безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Она смущалась от этого и спешила. Потом всем улыбнулась и скованно раскланялась:

— Поправляйтесь быстрее.

Больные недружным хором попрощались с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел и быстро вышел из палаты.

Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила:

— Может, попить хочешь?

— Нет! — угрюмо помотал он головой.

По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редющую паутину.

— Ишь ведь мчится! — заговорила Надежда. — Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются?

Степан пожал плечами — при чем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать на зиму, сено с делян привезти, а чем, как?

Совсем некстати вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел он посреди деревянного тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными выющимися бакенбардами, и не просил, а требовал, особенно у приезжих: «Три мессера» на одного «лавочкина» — и вот приземлили с-суки! Кинь рублевку на опохмелку, если совесть есть...»

Совести у наших людей допoлнa, последнее отдадут, разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому. И потом что же? Вывалиться вроде Кости-истребителя из пивнушки и гаркнуть: «Л-любимый город может спать спокойно-о!..», и самому лечь спать тут же, у пивнушки?

«Тьфу ты! Навязался еще этот истребитель!» — отмахнулся мысленно Степан и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось.

Скоро вот, через час-два, придет в поселок, и высыплет все малочисленное население этого поселка встречу, бабы станут сморкаться в передники, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы «не растравлять» душу ему и себе.

Скупой пасечник Феклин с подсобного хозяйства принесет банку меду и с таинственной многозначительностью сунет ее матери на кухне и с протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох-хо-хо, судьба-кобыла, куда завтра увезет — не знаешь!» И станет деликатно переминаясь и чего-то ждать.

Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука поллитровку. Феклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж если по одной», — и затешется на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему «Как надо уметь жить». И станет приводить себя в пример, удивляя людей своей пронцательностью, ловкостью, бережливостью и прочим и прочим.

И все будут терпеливо слушать его, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он и скупердяй, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених.

Совсем стало тошно Степану от этих мыслей. «Может, Надька турнет этого Феклина из избы? А что? Она, пожалуй, турнет, — появилась робкая надежда у Степана. — Поговорить бы надо с нею. Как нам теперь быть? Что делать? Э-эх, лучше бы уж одному все это переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем?»

Под ногами зачавкал разжульканный торф. Они подошли к ручью.

— Ох, какая черемуха чернущая! — воскликнула Надежда и бросилась к ней. Подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила и приказала: — Держи!

Степан боднул ее взглядом: чем держать-то? Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый набок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянуло, заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести.

Она нарвала полный подол черемуховых кисточек, села на траву и скомандовала:

— Отпускай! Будем есть.

Степан отпустил ветку, и та, взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла.

— На! — сказала Надежда и поднесла к его губам кисточку. Холодноватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился:

— Не хочу.

— Как хочешь. А я поем. Я люблю черемуху и пока до отвала не намолочусь — с места не подымусь.

— Дело твое.

Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уже не хочется ягод и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет.

Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти помочь ей или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял нагой до пояса лес. В торфяных кочках тайком пробирался через запретную зону ручейшко. И, прихваченные первыми инеями, клонились к нему квелые цветочки, грустя по кончающемуся лету.

— Так как же мы будем, Надежда? — прервал тяжелое молчание Степан.

Она, видно, устала ждать от него разговора, чуть вздрогнула, но сказала спокойно:

— Как все, так и мы.

Он еще больше нахмурился.

— Это как понимать?

— Обыкновенно.

— Сказала.

Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перехлестнувшими переносицу бровями:

— Эх, Степан ты, Степан, Степка Николаевич. И чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе? А вот у меня совсем другое отношение.

— Рук у меня нету, Надя.

— Ну и что? — быстро повернулась она к нему: — А это чего? Грабли, что ли? — показала она свои замытые водою, иссаженные занозами от половиц руки, с коротко остриженными, покоробленными ранней работой ногтями. — Да ну тебя! — рассердилась она, вытряхнула из подола черемуху и поднялась: — Пошли уж, чего травить самим себя.

Он не поднялся и, глядя под ноги, на брошенные кисточки черемухи, глухо произнес:

— Прости.

— Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый. — И взъерошила его по-детски мягкие, ласковые волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как маленький:

— Так как же нам быть-то?

Надежда прижала его к себе, наклонилась, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили на ее поцелуй.

— Степанушко!

— Надя! Стыдно-то как!..

— Когда любишь, ничего не стыдно, — шептала она, припадая к нему.

— Стыдно, сты-ыдно, — плакал он и скрежетал зубами.

Это был тот редкий случай, когда женщина ломала сопротивление мужчины и потом, пораженная тем, что она сделала, лежала отвернувшись и молча кусала траву, чтобы задавить те, задолго припасенные, обвинительные против мужчины слезы, на которые она уже не имела права.

Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли:

— Прости!

Она резко поднялась,правила юбку, сказала: «Не смотри» — и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки.

— Вот и поженились. — Помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески: — Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что если угодно, можно и по сторонам — черемуха не скажет...

— Да ты что, Надя? — чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. — Пойдем к маме, объявим, все честь честью...

— Чего же объявлять? — усмехнулась Надежда. — Я уже и манатки свои давно к вам перенесла, в тот день, когда беда стряслась, я и перебралась: чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем. Видишь, какая я расторопная да настырная. Окрутила мужика...

— А вот это ты зря говоришь, Надежда, — упрекнул ее Степан. — Зря, и все. — Заметив, что у нее дрогнули губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке, боясь поднимать кулачки, и прошептал: — Да если ты хочешь знать, я могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек, и что могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать...

— Ну, понес мужик! — рассмеялась Надежда. — Вроде бы и не пил, а речи, как у пьяного. Пошли уж давай до дому.

— А и правда пошли, чего высказываться, — опамятававшись, проговорил Степан и крутнул головой: — Прорвет же...

— Вот так, брат, — задумчиво протянул Степан после того, как выговорился, и мы посидели молча. — Так вот две руки четырем сделались. Сын растет, Тошка. Во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя — матица, весь потолок держит. Человек!.. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой. И завалился бы, глядишь, под стол. Смекай!..

Когда мы подходили к дому Степана, он вдруг кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя:

— Вот баба! Вот баба! Никак ее не осаврасишь, все из шлеи идет!

Внизу Надежда везла из лога на самодельной тележке сено. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Я спустился ниже, до меня долетели слова Надежды:

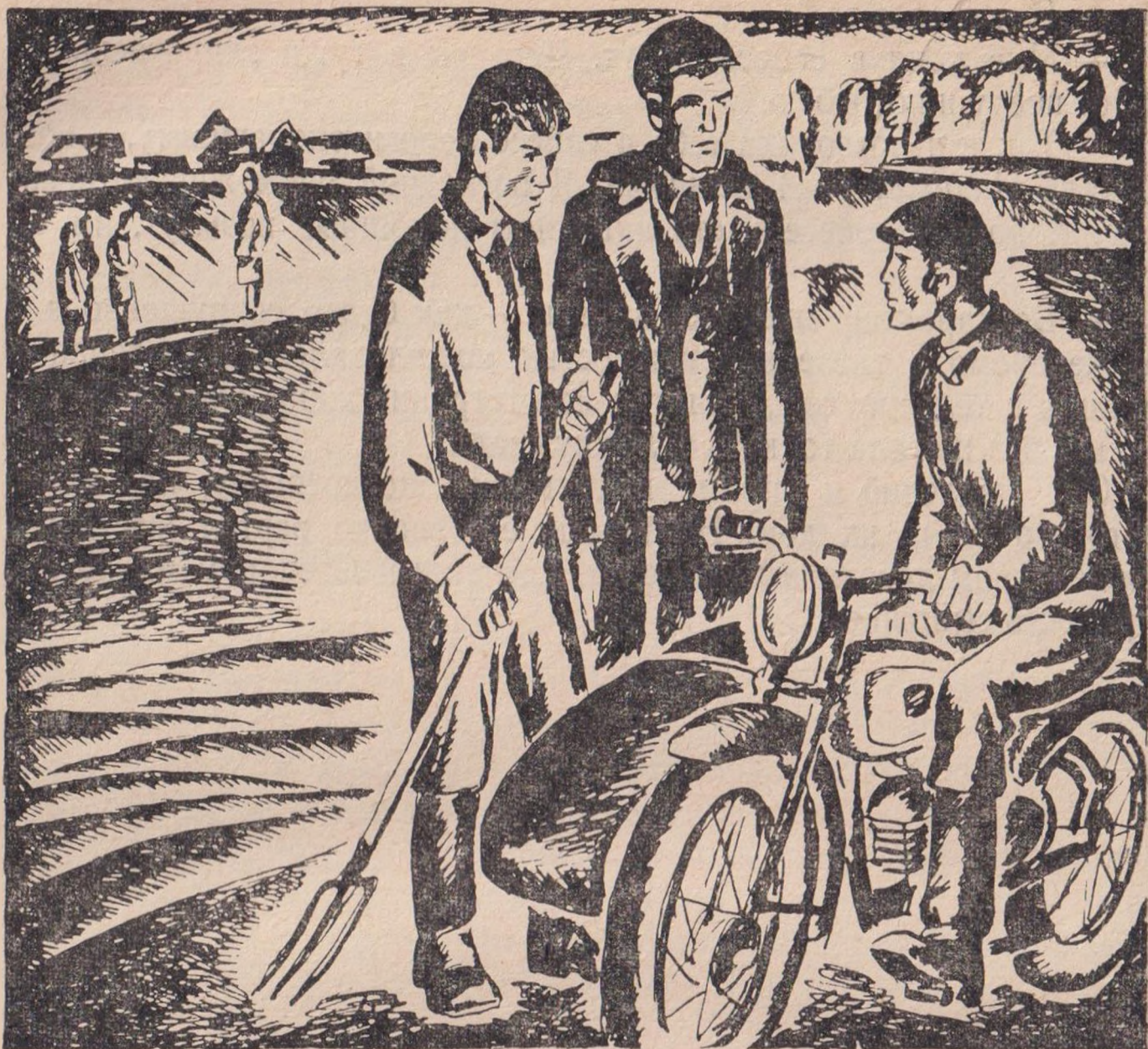
— Преет сено-то.

— Мне коня в собесе дадут. Чего ты в гужи запрягаешься? Я вот поеду и потребую.

— Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать, — возражала Надежда. — И не шуми. Я последний промежек дотаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут, им он нужней.

— Во характер, якорь ее задави! — как будто сокрушенно и в то же время с затаенной нежностью пожаловался мне Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в воз и стала толкать тележку сзади.

Они медленно и упрямо поднимались по кособоку, на склоне которого стоял их дом. На крыше его звонко вертел жестяным пропеллером деревянный самолет, сделанный Степаном на потеху и радость сынишке.



Иван Байгулов

ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ

Над Дубовкой сгущались звонкие весенние сумерки. Борков издавна любил этот час. За ним наступало для него то единственное время, когда можно было отдохнуть от забот прошедшего дня. Но сегодня он никак не мог отрешиться от мыслей о предстоящем собрании.

Сегодня ему надлежало держать речь перед колхозниками, а он не знал, как истолковать события единственного дня своей

председательской жизни, потому что угодил в руководители колхоза самым неожиданным образом, и столь же неожиданным было все, что свершилось потом.

После большого водополя в Дубовку, как каждый год, невесть каким путем, прибыл уполномоченный из района. На собрании, созванном по этому случаю, он долго говорил о том, что нужно делать колхозникам, и, хоть не было в его указаниях былой неумолимой требовательности, а в голосе начальственного звона, однако настойчивость была прежняя. Он советовал вдвое сократить сроки сева и подтянуть все прочие показатели. И, верно, постановили бы по указу уполномоченного — уже пошел было председатель Иван Иванович Птица на трибуну, чтобы дать твердое слово одолеть все трудности, — когда вдруг попросил слово всегда сдержанный и молчаливый шофер Таймалов.

На собраниях, если случалось быть на нем уполномоченному, бывало такое не часто. Каждый, кто отваживался говорить, делал это после председательского доклада, чтобы не сбиваться с руководящей линии. Соблюдая это неписаное правило, Птица протестующе махнул рукой, но уполномоченный остановил его и попросил Таймалова на трибуну. Он, видимо, слышал о нем много хорошего и теперь, должно быть, надеялся, что шофер непременно выдвинет встречные обязательства. Однако Таймалов, едва водворился за шаткую трибуну, сразу повернул в другую сторону и сказал, что подтягивать показатели дальше некуда, потому что гайка у Птицы будто бы ослабла вконец и надо определить в председатели другого человека.

Уполномоченный переглянулся с Птицей, и, наверно, пришлось бы ему поправлять Таймалова, но тут из затихшего зала вдруг донесся чей-то раздумчивый голос:

— А ить верно Таймалов-то говорит. Сымать Иван Иваныча надо.

— Надо!

— Давно пора! — вразнобой и не сразу зашумели колхозники, а те, кто порешительней, норовили пробиться на трибуну.

Птица потупился.

И хоть уже не говорили колхозники столь беспощадно, как Таймалов, но каждый, кто ненадолго утверждался на трибуне, вел дело к тому, чтобы незамедлительно сменить председателя.

Уполномоченный сначала пытался утихомирить мужиков, потом только слушал, а когда убедился, что гайка у Птицы и вправду ослабла окончательно, быстрехонько созвонился с районным начальством, назначил перевыборы и попросил назвать кандидатуру нового председателя.

В клубе воцарилась тишина.

Мужики, должно быть не веря, что их требование сбылось так скоро, недоуменно переглядывались. Кое-кто с надеждой поглядывал на баб, которые сбились в тесную кучку на двух передних скамейках, но, судя по тому, что был их шепоток очень несогласным, они ничем пока не могли помочь мужикам.

Уполномоченный нетерпеливо переминался за столом президиума, всем своим видом показывая, что мужики погорячились напрасно. А те боялись дать маху, и, как издавна, когда решалось важное дело, в зале кое-где зашаяли огоньки папирос. И, верно, еще не скоро назвали бы мужики того, кто мог, по их мнению, руководить колхозом, если б не обронил кто-то в шепотливом разговоре имя Боркова. В клубе опять заметно поутихло, а когда уполномоченный повторил свое «так кого же, товарищи?», зал отозвался одним коротким, как вздох, словом:

— Агронома!

Борков вздрогнул.

До этого мгновения он воспринимал все происходящее на собрании как нечто само собой разумеющееся. Но никак не предполагал оказаться в председателях колхоза. Руководить небогатым дубовским хозяйством, по его давнему мнению, мог только человек крепкого характера и редкостных способностей.

Себя он никогда не числил среди людей подобного сорта и, чтобы предостеречь колхозников от опрометчивого решения, хотел сейчас же — пока не дошло до голосования — сказать об этом. Но уполномоченный счел обсуждение кандидатуры нового председателя делом излишним, потому что выбирали колхозники своего человека, и когда Борков поднялся со своего места в президиуме, навстречу ему взметнулись руки колхозников.

Теперь Боркову, как всякому новому председателю, нужно было сказать колхозникам, как он поведет дела. Ждал окончательного слова о сроках сева и уполномоченный. Он поощряюще поглядывал на Боркова: дескать, не робей, в случае чего помогу.

Борков издавна побаивался опрометчивых обещаний, был не уверен, можно ли выполнить требования уполномоченного, и объявил, что решение этого дела нужно отложить до другого собрания и созвать его завтра же.

Уполномоченный запротестовал. Ему, оказывается, надлежало побывать еще в двух колхозах. Но Борков стоял на своем. Его поддерживали колхозники. Тогда уполномоченный согласился завернуть к ним на обратном пути и стал снова требовать, чтобы колхозники завершили сев в кратчайшие сроки.

У Боркова щемило сердце, как будто случилось невесть что нехорошее. За десять лет работы агрономом он видел не одни переборы и знал, что колхозники до собрания еще могут перекуривать с будущим председателем, а потом так же дружно проголосуют за него, но уже не подойдут к нему с этого часа с пустячным разговором и домой отправятся тоже врозь, даже если случится кому-нибудь быть ему попутчиком.

Каждый, кто оказывался в положении Боркова, должно быть, уже прикидывал, как повести дела, а он ждал конца собрания и той минуты, когда опустеет клуб и между ним и односельчанами ляжет незримая полоса отчуждения. Он боялся этой минуты. Но едва уполномоченный объявил собрание закрытым, к нему один по одному потянулись колхозники.

Первым, еще на сцене, настиг его дядя Митрий. Он, верно, прослышал, что на последнем заседании правления настаивал Птица возвести трехзальный клуб и, как в прошлом году, когда взялся было колхоз поставить на реке собственную электростанцию, прочил его в начальники строительства. Теперь дядя Митрий, наверно, хотел узнать, в какой силе прежнее решение, и, чтобы завязать разговор, посоветовал Боркову с клубом повременить, а перво-наперво приняться за хозяйственные постройки. На этой работе он соглашался верховодить хоть над самыми плохонькими плотниками. И, подтверждая свою готовность послужить обществу, кивнул на подходившего к ним Ваську Дубова, назвал его архаровцем, но будто бы был не против взять его под свое начало.

Но у «архаровца» были свои заботы, и он сразу же приступил к Боркову с просьбой дать ему лошадь, чтобы съездить в район и выправить какую-то позарез нужную бумагу.

Ошеломленный столь поспешными переборами и своим новым

положением, Борков не помнил, что ответил Ваське, как, впрочем, забыл и многие наставления односельчан, которыми будто бы следовало руководствоваться ему и денно и ночью, если хочет он сделать колхоз богатым.

Домой Борков, как и раньше, когда выпадало ему засидеться на собрании, шел с Таймаловым. И оттого, что не оправдались его предположения и рядом с ним знакомо маячила грузная фигура шофера, он постепенно успокоился.

Борков, как никогда, был благодарен своему попутчику за молчание и, чтобы продлить приятное и легкое состояние успокоенности, поубавил шаг, чему тотчас же последовал и Таймалов.

У подворья Таймалова они остановились закурить. Зная, что шофер не любит подолгу стоять без дела, Борков ждал, что он вот-вот неслышно скользнет в калитку. Но на этот раз Таймалов уходить не торопился. Только дотла спалив папироску, пошел к дому и, обернувшись, сказал:

— Нелегкую работу определили мы тебе, Сидор Матвеич. Все на ней может стать, но держи руль прямо. Не оступись.

— Постараюсь, — коротко отозвался Борков.

Может, не удержалось бы в памяти и это напутствие, если бы не почуял он в словах Таймалова какую-то затаенную боль и вдруг вспомнил, как однажды поплатился тот за любовь к своей старенькой машине немалым штрафом.

Было это в самую страдную пору. Три колхозных грузовика едва управлялись с хлебопоставками. Шоферы работали почти круглосуточно, и, верно, выполнил бы план дубовский «Восход» как раз к тому дню, какой определили ему в районе (уже оставалось сдать последнюю сотню центнеров), когда Таймалов неожиданно заявил, что ему надо немедленно поставить машину на ремонт. Птица отказал и даже счел его просьбу неслыханным кощунством, что, правда, не помешало Таймалову завернуть по пути в районную «Сельхозтехнику». Там он быстренько отладил мотор, но не успел в тот раз сделать положенное число рейсов.

С хлебопоставками рассчитался колхоз на день позднее назначенного срока. Птица лишил Таймалова половины месячного заработка. И хоть была, как выяснилось потом, немедленная необходимость отремонтировать машину, оставил свое решение неизменным.

Таймалов снес наказание без особого возмущения, и оттого оно

затерялось среди других событий. Не улови Борков в напутственных словах Таймалова затаенную горечь, никогда бы не подумал, что помнит шофер о давней обиде.

Борков вдруг представил, как поспешно обступили его колхозники после собрания. Видно, была у каждого из них какая-нибудь важная забота или, как у Таймалова, давняя боль, с которой жил он, может быть, не один год, терпеливо ожидая той поры, когда можно будет разрешить свои сомнения.

Борков пожалел, что слушал колхозников вполуха. Он еще не знал, как и с чего начнется его новая работа, но был теперь твердо убежден, что среди шутливых предложений sprysnut' новую должность были и другие. Они, верно, помогли бы ему не сделать в будущем опрометчивого шага. И оттого, что он упустил эту возможность, Борков почувствовал себя безмерно виноватым перед односельчанами.

Наутро Борков, как и каждый день, пришел в правление спозаранку. В маленьком кабинетике, который был недолгим пристанищем доброму десятку дубовских председателей, издавна стоял у окна большой стол, а на стенах висели большие плакаты. На них красовались породистые коровы, лежали горы огурцов и румяных помидоров. Показатели «Восхода» и сытость коров уступали плакатным, отчего цифирь дубовских успехов была выписана помельче и не бросалась в глаза. Эта невинная хитрость как-то спасла Птицу от неминуемого нагоняя, когда высокий областной начальник принял в сумерках цифры на плакатах за колхозные достижения. С той поры Птица строжайше запретил что-либо менять тут, но Борков сразу почувствовал, что в этой казенной комнатке произошли какие-то приятные перемены и, когда подошел к столу, увидел прибранные бумаги, на которых лежал букетик подснежников.

Сделать это могла только счетоводка Зина. Она, должно быть, заметила, что если случалось Боркову зайти в правление с полей, он приносил с собой несколько цветочков, и, чтобы сделать ему приятно, неизвестно где в столь позднюю пору отыскала эти, может быть, уже последние подснежники.

Зина на глазах Боркова пережила все переходные стадии по-

взросления: была Зинкой, Зинушей, Зинаидой, но так и не стала Зинаидой Петровной. И не произошло это только потому, что даже теперь, тридцатилетней, она сохранила редкую в ее годы непосредственность молоденькой девчонки.

Ее исполнительность помогла ей пережить двух главных бухгалтеров и трех председателей.

Правда, Дарья Колячкина считала, что зажились Зина в правлении по причине легкого поведения. Она не раз рассказывала в бабьей компании, будто бы хороводится счетоводка с приезжими, чему якобы была она свидетельницей, когда квартировал у ней уполномоченный из района. И еще много чего другого рассказывала Дарья про Зину. Но Борков уже давно взял себе за правило не верить досужим бабьим разговорам и был теперь очень рад этому маленькому подарку.

Стол Зины стоял напротив дверей председательского кабинета, и она время от времени отрывалась от бумаг, чтобы глянуть украдкой, как принял Борков ее подснежники.

Наблюдала за ним Зина, конечно, неспроста. Борков не однажды был свидетелем, как приходила Зина с бумагами к Птице лишь после того, когда убеждалась, что «сам» в добром расположении духа.

Борков невольно улыбнулся этой уловке Зины. Она, должно быть, сочла улыбку за доказательство хорошего настроения и принесла папку с бумагами.

Папка эта была вместилищем всех нужных и ненужных отчетов и справок. По ним можно было судить и о достижениях, и о бедах. Последних все еще было немало, и, понимая, как нелегко разобраться в них сразу, Борков отложил эти бумаги в сторону. Однако и еженедельный отчет оказался чуть ли не загадкой. Цифры его, подтверждая, что мудрил Птица с плакатами не от хорошей жизни, могли потянуть лишь на середину районной сводки, но по итогам, о которых раз в неделю следовало обязательно сообщить в район, колхоз уверенно выходил в передовики. Борков недоуменно глянул на Зину. Она смутилась и поспешно пояснила:

— А Иван Иванович всегда так делал. Пока сводка дойдет до района да пока в газету попадет, показатели-то как раз и уравниются с этими.

— Ловко! — подивился Борков изобретательности Птицы и

хоть слышал не впервой, будто бы бывают в сводках кое-какие казусы и неувязки, но никак не предполагал, что они так велики.

Зина ждала. Она была уверена, что Борков все равно подпишет отчет, и уже приготовилась положить перед ним другие бумаги. Но он все еще изучал победное донесение, а когда уверился в его полном несоответствии истинным достижениям, подал отчет Зине и решительно сказал:

— Пересчитай. И чтобы все было, как есть.

— Так ведь беды не оберешься, — встревожилась Зина.

Она многозначительно посмотрела на телефон, будто хотела сказать, что бездорожье, может быть, и отведет на время районную комиссию, а разговора по телефону не избежать и закончится он основательной головомойкой.

— Вот и объясним, что к чему, — перехватив ее взгляд, сказал Борков.

Зина пожала плечами и, взяв папку, ушла к своему столу. Там она разложила бумаги, долго сидела над ними и, наверно, никак не могла взять в толк, почему не внял Борков ее предупреждению.

Вглядевшись в растерянное лицо счетоводки, Борков вдруг понял, что двойная бухгалтерия была заведена давным-давно. Она, наверно, не без помощи Зины, как наследство, передавалась от председателя к председателю и, случалось, спасала от больших и малых неприятностей. Зина, должно быть, считала эти приписки не бог весть каким обманом, потому как к отчетному собранию колхозные достижения непременно уравнивались с существующим положением дел, и теперь она уже не скрывала обиду: хотела, дескать, как лучше, но если не желаете слушать, не миновать вам беды...

Судя по тому, как нерешительно придвинула Зина к себе бумаги, беда должна была нагрянуть немалая. Борков уже хотел пойти к счетоводке, чтобы успокоить ее, но тут затрещал телефон.

Звонил начальник районной «Сельхозтехники» Неделькин. Борков не сразу разобрал, чего он хочет, а когда понял, что ему нужен Птица, кое-как вклинился в недолгую паузу:

— Нет уже у нас Птицы.

Но Неделькин, слывший в районе заядлым охотником, истолковал ответ Боркова по-своему.

— Да не та птица, глухие тетери, что в лесу водится, а та, что у вас, черт бы его побрал, в правлении сидит! — гроыхнул он и,

верно, в гневе прибавил бы к нечистой силе что-нибудь и вовсе непечатное, но, должно быть, вспомнил о выговоре, который схлопотал недавно на бюро райкома за крепкие выражения по телефону, и поубавил голос. — Надо мне вашего председателя.

— Я вместо него, Борков.

— И когда ж ты этим чином разжился?

— Вчера благословили, — вздохнул Борков.

— Э-э, как у вас все быстро делается, — удивленно протянул Неделькин. — Ну, а мне один хрен, что Птица, что ты. Снаряжай-ка, председатель, машину ко мне. Навозоразбрасыватель вам пришел.

— Не доберемся ведь, дороги — болото. Повременить бы денек-другой, — взмолился Борков, зная, как скор на решения Неделькин: того и гляди отдаст позарез нужную машину другому колхозу.

— Доберешься. Мне твою машину хранить негде. Будь здоров, председатель.

«Вот соловей-разбойник. На чем же в такую грязину ехать?» — растерянно прикидывал Борков, не сразу нашарив на стене за спиной рычаг телефонной трубки, что не ускользнуло от мимолетного взгляда Зины.

Она едва заметно усмехнулась: погоди, дескать, председатель, то ли еще будет, если не станешь слушать совета добрых людей.

«Ничего, как-нибудь утрясется», — подумал Борков.

До сих пор машины и прочий инвентарь все-таки получали. И не сразу после телефонного звонка. Наверно, не однажды была Зина свидетелем, как поступал в таких положениях Птица. Борков хотел спросить у Зины, что предпринять ему, но едва вышел из-за стола, она уткнулась в бумаги, всем своим отрешенным видом давая понять, что она человек маленький и ничего путного посоветовать не может.

«Неправда, Зиночка», — все еще продолжая мысленно спорить с ней, подумал Борков и уже вслух добавил: — Если будут искать, я в мастерской.

Зина кивнула и снова склонилась над столом.

Небольшое деревянное зданье мастерской стояло на берегу речки. Было оно аккуратное, как все, что возвел дядя Митрий, но невместительное, потому как строили его еще в те времена, когда

стояло на колхозном дворе только две автомашины да четыре трактора. Каждому, кто в последние годы заступал на председательскую должность, старый плотник советовал начать «опчественное» строительство с новой хоромины под мастерские.

Нужда в ней была и вправду безотлагательная. В мастерской едва-едва умещались одна автомашина или трактор. Чтобы попасть туда пораньше, шоферы и трактористы затевали долгие споры и извели не одну трешницу на угощение механику. Но нынче кому-то из шоферов не помогло ни то, ни другое: на лужайке возле мастерской ровным рядочком стояли уже отремонтированные автомашины и тракторы, а в настежь распахнутых воротах «дубовской ремонтной базы» виднелся старенький грузовик.

Борков узнал машину Таймалова.

Помня, что при любых обстоятельствах Таймалов неизменно попадал в мастерскую первым, Борков не знал теперь, на ком остановить свой выбор, потому что уже решил послать в район именно его.

В полумраке мастерской Борков нигде не увидел шофера и, только попривыкнув к сумеречному свету, заметил торчащие из-под приступка кабины ноги. Они шевелились в такт побрякиванию Таймалова и, когда Борков окликнул его, замерли, а потом утянулись под машину.

Таймалов не торопился оставить работу и по-прежнему невозмутимо побрякивал и звякал ключами. Тогда Борков позвал его еще раз.

— А-а, Сидор Матвеич. Доброго здоровья. Думал, ребята озоруют, — сказал Таймалов, вылезая из-под машины.

Он кинул в кабину ключи, сел на деревянный чурбачок и достал из кармана мятую пачку «Прибоя».

— Что-то запоздал ты, Петрович, с ремонтом? — не скрывая сожаления, спросил Борков.

— Ан нет, Сидор Матвеич, — лукаво улыбнулся Таймалов. — Я грузовичок-то еще в марте весь перебрал да обстукал, а сейчас только проверяю — может, не доглядел чего.

У Боркова отлегло от сердца. Однако посылать машину по весеннему первопутку все-таки было рискованно, и, не зная, как и с чего начать главный разговор, он тщетно искал подходящие слова. Таймалов раза два, будто невзначай, глянул на него и загасил недокуренную папироску.

— Гляжу, маешься, Сидор Матвеич, да не пойму, отчего так скоро?

— Верно, Петрович, маюсь, — признался Борков и присел на другой чурбачок рядом с Таймаловым. — Пришел нам навозоразбрасыватель, а как его привезти — ума не приложу.

— Смотри-ка, ко времени угадали, — удивился Таймалов. — Через день-другой и доставим машину.

— И я так думал, а Неделькин требует, чтобы сегодня же.

— Ну, это известно — с рук долой и из списков вон: мол, выполнил все в точности и к сроку, — заворчал было Таймалов, но осекся. — Эге, да ты никак в путь-дорогу сговаривать пришел?

— Угадал, Петрович. Больше некому. Дело, сам понимаешь, нешуточное.

Таймалов не отозвался. Он посмотрел на видневшуюся из-за пожарной каланчи Въезжую гору и, наверно, прикинул, как одолеть самый крутик. Сделать это было нелегко даже после летнего дождя, и Борков уже не сомневался, что Таймалов откажется, но он неожиданно встал и пошел к машине.

— Ладно, Сидор Матвеич, попробую спроворить это дело, — сказал он, открывая кабину, а когда Борков напомнил, как обязательно нужен сейчас колхозу навозоразбрасыватель, досадливо отмахнулся: — Ты мне акафисты не читай. Лучше не забудь глянуть, как я на Въезжую гору поползу. Ежели что, пришли трактор.

Машина взревела хорошо отлаженным мотором и медленно выкатилась из мастерской. Борков смотрел, как оседает под колесами грузовика еще неокрепшая дорога, и всем телом чувствовал ту беспомощную неловкость, какая бывает у праздного пассажира на грязной дороге, оттого что он ничем не может помочь шоферу. Но грузовик Таймалова уверенно набирал ход и вскоре свернул в большую улицу.

Борков облегченно вздохнул и, твердо уверовав, что Таймалов непременно привезет навозоразбрасыватель, собрался пойти к конюховке на разнарядку. Однако колхозники уже прослышали, что «сам» в мастерских и, как всякий раз, когда появлялось начальство в людном месте, норовили быть к нему поближе — гляди, так какой доброй вестью поделится — и собрались неподалеку от мастерской, благо была она рядом с конным двором.

Мужики сгуртовались отдельной артелью вокруг Васьки Ду-

бова. Судя по тому, что время от времени они зычно хохотали, Васька рассказывал какой-нибудь похабный анекдот.

Борков направился к мужикам и, когда подошел к ним, они с кряканьем и вздохом отходили от смеха, закуривали и еще теснее обступали Ваську, потому как он, должно быть, оборвал анекдот из-за хохота и впереди ожидалось самое интересное.

Борков прислушался, но, вопреки его ожиданиям, Васька вел разговор о курицах.

Этой птицей он, по его же словам, заинтересовался после повышения закупочных цен. И якобы только для того, чтобы в меру сил и возможностей помочь державе решить мясной вопрос, завел немалое стадо разномастных хохлаток.

Курицы разоряли соседские огороды, часто болели, и Васька то и дело наведывался к Боркову или зоотехнику, чтобы «сверить свой курс с наукой». Но наука помогала плохо: Васька был убежден, что курица не птица и, как всякая неблагородная животная, должна добывать себе пропитание в основном самостоятельно.

Каждую весну Васькино стадо заметно убывало, однако он тотчас же пополнял его и, были разговоры, прибыльно торговал яйцами.

Сейчас у Васьки, должно быть, начался очередной мор, но скоро Борков уловил, что на сей раз его донимают другие заботы.

— Беда. Что ни день, яйца меньше. По прошлогоднему счету полтора десятка — яичница от пуза, а нынче, мать честная, едва червяка заморишь, — сокрушался Васька. — Стал я мороковать, что к чему, и дошел-таки до причины: петух у меня, оказывается, квелий! Вроде бы и голосина хоть куда и статью представительный, а вот до куриц неохочий.

— В суп его, негодника! — подсказал кто-то из мужиков.

— Дурное дело нехитрое, — невозмутимо отозвался Васька. — И я смекнул: другого надо, да где его возьмешь об эту пору, мать честная? То-то и оно! Ударился по соседям. Может, думаю, даст кто на ночку-другую. А у них хуже моего — не петухи, а одна видимость. Было дело — залучил раз петушка Толянки Перегудова. Слов нет, голосистый, бойкий, а все без толку. Чахнут, смотрю, курицы, и только одной хоть бы что. Веселехонька! Начал я за ней доглядывать и уследил как-то: повадилась она на двор Никанора Дудочкина. Через малое время, гляжу, потянулись за ней и другие. Ника-

норовский петушина, должно, справлял свою службу исправно и моментально поднял моих курочек на ноги. Пошло дело: и яйца будто стали побольше, и телом день от дня, гляжу, курочки круглее. Все вроде бы наладилось. И уже прикидывал — по первопутку махну на Усовский птицекомбинат да привезу породистого петуха. А до той поры была думка продержаться на иждивении никаноровского. Но порушились вчера, мать честная, все мои планы. Встретил перед собранием самого Никанора. «Здравствуй, говорит, Васенька. Как живешь-можешь?» — «Ничего, говорю, помаленьку». — «Ну и славу богу, говорит. Да только не след тебе о долгах забывать». — «Это о каких таких долгах? — спрашиваю». — «А о тех, смеется вражина, что твои куры наделали. Ежели уж обслуживает их мой петух, то и плата за это должна быть, как, к примеру, в колхозе за искусственное осеменение. Гони пятак за каждую курицу». — «Эх, думаю, живодер ты». А Никанор вдруг спохватился: — «Мало, кричит, они у меня еще и кормом пробавляются. Плати гривенник!..»

Последние слова Васьки потонули в дружном хохоте мужиков. Они смеялись самозабвенно, и хоть, верно, не всем было весело одинаково, но, глядя друг на друга, мужики прибавляли голос.

Васька еще пытался досказать, чем кончились его переговоры с Никанором Дудочником. Он порывался привлечь к себе внимание все еще смеявшихся мужиков, но заметил Боркова, приосанился и приветственно приподнял засаленную кепочку.

С начальством Васька разговаривал солидно и, чтобы все соответствовало важности момента, непременно поднимал разговор до уровня забот собеседника. Борков уже было приготовился услышать, как тяжела его новая работа или что-нибудь в этом же роде, когда Васька неожиданно согнал с лица представительность и буднично спросил:

— Сказывал бригадир вчера, будто бы надо опять навоз на полях раскидывать. А теперь, может, другое распоряжение будет?

— Нет. До пахоты нужно обязательно с навозом управиться, — сказал Борков.

— Эх, мать честная, — заворчал Васька. — За неделю я уже насквозь дерьмом пропах. Девки, как от чумового, шарахаются.

— А ты, Вася, почаще в баню наведывайся.

— Да одеколону, слышь-ко, не жалеёй, — наперебой советовали мужики.

Васька только усмехнулся: ничего-то вы, дескать, не понимаете, и ушел к конюховке.

За ним утянулись туда и мужики.

Борков не собирался говорить о текущих и будущих задачах, как это делал Птица при каждом удобном случае, и все-таки надеялся, что после шуток затеется у него с мужиками неторопливый разговор. В таких беседах, случалось, узнавал он какую-нибудь нехитрую примету, а она оборачивалась хорошим подспорьем в работе. Он и теперь рассчитывал услышать что-нибудь, что помогло бы ему в его новом деле. Но мужики держались настороженно. В их мимолетных взглядах, как показалось Боркову, сквозила отчужденность: дескать, человек ты, конечно, свой, однако кто тебя знает, куда теперь потянешь.

От этих мыслей Боркову стало не по себе.

Ему не раз доводилось слышать, как важно знать председателю, какими думами живут колхозники. Об этом говорили на районных совещаниях и конференциях, читали лекции.

От частого употребления эти правильные слова вылиняли и безлико стали в ряд с другими, но для Боркова они всегда имели особый смысл. Был он емким и раскрывался в полную меру в незатейливых спорах, в праздной беседе на завалинке и даже в таких вроде бы мимолетных взглядах, какими только что смотрели на него мужики.

После собрания Борков был уверен, что остался для односельчан прежним человеком, а теперь засомневался: видно, отвечал он вчера на их вопросы очень невпопад, а иное что и вовсе оставил без внимания. И не сказать, когда теперь, как раньше, запросто поделится с ним эти люди важной заботой и даже расхожей побасенкой...

Около мастерской застучал пускач трактора. Борков вспомнил о Таймалове и глянул на Въезжую гору.

На колдобистой глади разъезженной осенью дороги отчетливо виднелись глубокие колеи первого машинного следа и на взлобке пропадали из глаз.

Теперь Боркову надо было вернуться в правление, чтобы подписать пересчитанную сводку, но он вспомнил о предстоящем собрании, на котором нужно будет наметить окончательные сроки посевной, и, как каждый день в эту пору, пошел на поля.

Дорога на пашню еще не просохла, и еще никто не бывал на ней, кроме Боркова: он разглядел только свои полузаплывшие следы, оставленные неделю назад, когда бродил тут по последнему, некрепкому насту.

Земля уже дышала, и это было для Боркова самой верной приметой, что со дня на день нужно начинать весеннюю страду с ее суматошными заботами. Сегодня он еще был свободен от них и радовался возможности побыть наедине со своими мыслями.

Он не замечал, как шаг от шагу тяжелеют сапоги, однако, одолев небольшую гору, почувствовал, что устал, и остановился перевести дух.

С горы были видны заречные поля, пустоши Сотельной и засиженные дали лесов. Кое-где по оврагам еще сохранились серые холстины последнего снега, на приречных луговинах поблескивали лужи, а на солнцепеках и горушках уже проклюнулась свежая трава. Глядя на потемневшие березовые перелески, Борков представил, как через неделю опущатся они пахучей зеленью первых листочков, а пробудившаяся земля начнет делать свою извечную работу, чтобы все дошло на ней в нужные сроки и успело обронить семена новой жизни. Не однажды был он свидетелем обновления земли и все-таки не переставал удивляться этой отрадной перемене, какая случалась каждый год, и каждый год он с нетерпением ждал эту шальную пору.

Но самое памятное удивление произошло давно и круто повернуло жизнь Боркова с намеченного пути.

После окончания семилетки он решил поступать в горнопромышленную школу. Отец утвердил его решение сразу. Мать, правда, плакала — легко ли расстаться с единственным сыном, — но отцовские доводы насчет твердого заработка в конце концов сломили ее упорство, и она согласилась, что пахать землю можно и без образования, а рудное дело, может, и вправду выведет сына в люди. Не соглашался с этим лишь дед. Он объявил семейный совет недействительным, потому что он не принимал в нем никакого участия, а в подобных делах якобы нужно было полное единогласие, чего никогда вроде бы не дожидаться, так как он будет всегда против. Мать заколебалась, но отец без труда рассеял ее сомнения. Дед упорно держался своего мнения. Чтобы отстоять свою совершенно безнадежную позицию, он повел наступление на внука, рассказы-

вал ему страшные истории о городской жизни и стал брать с собой в караул к комбайнам.

В тихие и темные августовские ночи он убеждал внука стать трактористом или комбайнером, что будто бы было так же денежно, как и горная работа. Иногда он прерывал свои уговоры в самом неподходящем месте и неожиданно спрашивал:

— Слышь, как земля вздохнула?

— Не-е, — неуверенно тянул Борков, потому что действительно не улавливал ничего, кроме писка мышей да чуть внятного шелеста колосьев.

— Дурак! И чему только вас в школе учат?

Дед уходил к временному балагашку, но вскоре семенил обратно и, сев рядом с внуком, вглядывался в устоявшуюся темень. Время от времени он поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, как будто боялся не услышать что-то очень важное и необходимое ему.

Он, должно быть, и на самом деле различал в этой небогатой звуками ночи то, что называл вздохом земли, — был дед человеком серьезным и самостоятельным, пустопорожних разговоров не любил, — но вел агитацию слишком настырно и запальчиво, а оттого и казалась она Боркову лишь причудой старого человека. И, верно, уехал бы он в назначенное время в свою горнопромышленную школу, если б не то последнее августовское воскресенье, когда захотелось ему пройти по своим заповедным урочищам, где он нашел первый гриб и сорвал первую, еще недозревшую ягодку земляники.

К полудню Борков набрал корзину отборных груздей, наелся на горях уже привявшей от времени малины и, выйдя на опушку леса, присел отдохнуть.

Над ним лопотала дрожливыми листьями уже тронутая багрянцем осина, чуть внятно шелестели сосны. Над заречным лесом сгрудились белые облака, громко и назойливо стрекотала в лесу сорока. Все это увидел и услышал Борков сразу, но ничто не остановило взгляд и не привлекло его внимания. Он лениво оглядывал примелькавшиеся горки и горушки, спелые хлеба и все другое, что попадало на глаза и что издавна было знакомо и буднично.

Борков лег на спину, уставился в небо и вдруг почувствовал, как стеснило в груди и стало отчего-то тревожно и радостно.

Он вскочил на ноги и, чтобы понять, почему нахлынуло на него

доселе неведомое чувство, жадно оглядел поля, перелески, по-полдневному сонный пруд. Но ни в полях, ни на мелкой ряби стоялой воды он не заметил ничего такого, что могло бы броситься в глаза. Все вокруг было так же, как и неделю назад, когда он приезжал сюда на работу, но теперь ему вдруг почудилось, что сосны шумят как-то по-особенному, а сорока кричит совсем неназойливо. Он все пристальнее вглядывался в поля, прислушивался и, казалось, разобрал среди монотонного шума леса едва различимые шорохи, что, наверно, и было для деда вздохами земли...

В тот день он так и не сумел объяснить себе, отчего так взволновали его давно знакомые окрестности Дубовки. Еще не зная, что стал он тогда взрослым человеком и сделал свое первое открытие, как прекрасна земля, Борков заявил дома о намерении стать агрономом. Отец потянулся было к ремню, но решительное заступничество деда спасло Боркова от порки и помогло укрепиться в своем желании.

От того августовского воскресенья сейчас отделяло Боркова пятнадцать лет, но он помнил этот день во всех подробностях. И хоть ни разу с той поры не довелось ему почувствовать ту тревожную радость, что перепутала все привычные представления о деревенской жизни, но отголоски ее сохранились навсегда: он радовался крикам первых скворцов, запаху луговых трав и не переставал удивляться могучей силе небогатых дубовских земель.

Они исходили сейчас теплом, были еще комковаты и кое-где изъедены водомоей. Еще не угадать, как лягут на пашне ровные строчки посеянного зерна и как дружно проклюнутся всходы, а Борков уже видел тут созревающую ниву, потому что была она единственной мерой его работы и его каждодневных забот. Чем оценивать хлопоты новой должности, Борков представлял пока очень неотчетливо, а оттого и вспомнил об этом лишь мельком и, чтобы успеть до полудня обойти ближние поля, заторопился к Медвежьей гриве.

На высоких местах дороги уже подсохли. Там Борков шел размеренно и угонисто, а в низинах было еще грязно, отчего и управился он с обходом с большим опозданием против назначенного. Повернув к дому, он миновал березовый лесок и вышел на поле, где бабы разбрасывали навоз и, завершив работу, скликали друг друга к дороге.

Глядя на удобренное поле, Борков прикинул, как хорош может быть тут урожай, и оттого, что даже по скромным подсчетам мог он потянуть сто пудов, обрадовался, но тотчас же умерил ликование. На дальнем конце поля земля кое-где осталась неунавоженной. Наверно, поленились коновозчики тащиться туда по глубокому снегу и опрастывали возы у дороги. Навозные кучи лепились там друг к другу, как ласточкины гнезда, и почему-то были едва разворочены.

Борков вспомнил, как нелегко было зимой вывозить навоз с фермы сразу на поле. Зная, что часть этих трудов теперь может пойти прахом, почувствовал, как его захлестывает раздражение. Чтобы успокоить себя и не показать своего настроения на первом же слове, он намеренно медленно пошел к столпившимся у дороги бабам.

На полпути к ним его перехватил Васька. Он невесть когда появился на опушке лесочка и, подождав, пока Борков поравняется с ним, так же как у мастерской, приветственно приподнял свою кепочку, кивнул на поле.

— Урожай тут, Сидор Матвеич, будет нынче невпроворот, — веско сказал он и, судя по тому, что собирался закурить, хотел завести обстоятельный разговор.

— Должно бы. Только не везде. У дороги вот — все начисто выгорит...

— Это как же так? — вроде бы удивленно перебил Васька. — Нет. В этом месте я, Сидор Матвеич, работал и сделал все по науке. Вычитал как-то в газетке: коли выветрился навоз, надо его толще класть, да и вы, помните, так же говорили.

— Но не о таком. Этот же перепреть даже не успел! — уже не скрывая раздражения, возразил Борков и не сдержался бы — прикрикнул на Ваську, но он вдруг снял пиджак, кинул его на землю и взял стоявшие неподалеку вилы.

— Ну, ежели надо, я эти кучки моментально раскидаю, мать честная, — с готовностью согласился он и, помолчав, снова подошел к Боркову. — Есть у меня, Сидор Матвеич, нужда в район съездить. Страховой документ на дом оформить нужно. Вчера подходил, да, знать, не до меня вам было. А надо бы до большой работы обернуться. Лошаденку бы мне, Сидор Матвеич.

Борков знал, что Васька давно застраховал все недвижимое имущество. Теперь он, конечно, собрался на птицекомбинат за тем

самым породистым петухом, который должен был поправить его оголодавших куриц.

Васька не понял, что Борков разгадал его истинные намерения, и с невинным видом простоватого человека просительно смотрел на него, как будто был готов с одинаковым смирением принять и отказ, и согласие.

«Ишь ведь какой ты!» — с неприязнью подумал Борков.

Он уже собрался сказать, что не даст лошадь ни до сева, ни после, потому как дело его — пустяк, и чтобы управиться с ним, можно съездить в район на попутной машине, но тут из-за лесочка с оглушающим ревом вылетел мотоцикл и, лихо развернувшись, остановился около Боркова. В заляпанном грязью с ног до головы водителе было трудно признать расторопного бригадира Пашу Ненашкина. Он был чем-то озабочен: не улыбался, не соскочил, как всегда, с мотоцикла, а только нехотя отвалился от руля.

— Беда, Сидор Матвеич, — вполголоса сказал Ненашкин. — Встретил сейчас школьников. Говорят, будто бы у Телячьего брода налетел Таймалов на сосну. Машину вроде побил и навозоразбрасыватель покалечил.

Борков вскочил в коляску мотоцикла.

— Гони! — в тон Ненашкину приказал он. — Да не забудь вечером проверить, как Дубов навоз на поле раскидает.

Машина Таймалова стояла на обочине дороги. Привалившись расщепанным бортом к ободранному стволу сосны, она увязла в грязь по самые ступицы задних колес.

Таймалов, должно быть, не верил, что не сможет выехать, и настойчиво пытался выволить машину. Но она даже не дергалась, а лишь надсадно выла перегретым мотором.

Борков махнул рукой и, когда смолк гул двигателя, подошел к кабине.

— Как же это ты, Петрович, а?

Таймалов вылез из машины и молча показал на перепоясанную неширокой полоской льда дорогу. Он, верно, и сам не смог бы рассказать сейчас, как и почему скользнула машина на обочину.

Борков еще надеялся, что школьники напутали и стоявший в кузове навозоразбрасыватель остался неповрежденным. Он обошел

машину и, даже не разглядев как следует, велика ли поломка, понял, что ребяташки сказали правду: сквозь развороченный борт грузовика виднелись разбитые шестерни подающего механизма навозоразбрасывателя.

Борков стал внимательно приглядываться к каждой детальке, и по мере того, как находил он все новые и новые изъяны, истаивала надежда поправить до сева особенно тощие земли и поднималось еще не опавшее после разговора с Васькой раздражение.

— Вот уж наломал! — со всех сторон оглядев навозоразбрасыватель, растерянно сказал Борков.

Таймалов виновато пожал плечами.

— Молись, председатель, что еще так обошлось. В эту пору да по такой дороге только недоумки ездят! — неожиданно осевшим голосом сказал он и, взяв из кабины топор, пошел к лесу.

— А это мы на собрании разберем! — крикнул Борков.

Таймалов остановился и, словно желая убедиться, что он услышался, недоуменно и пристально посмотрел на Боркова. Надо бы Боркову сдержаться — он увидел, как устал и осунулся Таймалов, наверно, не первый раз сегодня откапывая машину, — но уже не мог побороть гнев и по-прежнему сердито добавил:

— В правлении расскажешь, как надо ездить, а потом решим, что тебе за это полагается!

— Валяй, Сидор Матвееч. Такая уж теперь у тебя должность — штрафы распределять, — безразлично сказал Таймалов и неловко полез в кабину.

Борков наказал Ненашкину вытащить машину трактором, еще раз оповестить колхозников о собрании и пошел от машины, чувствуя на себе осуждающий взгляд Таймалова, в котором все еще, видно, сквозили горечь и сожаление, что дубовчане и на этот раз дали маху, выбрав его, Боркова, председателем.

До собрания оставалось полтора часа. Раньше в это время колхозники не спеша стекались к клубу и, прежде чем решать артельные дела, успевали наговориться с близкими и дальними родственниками, узнать новости, но сегодня улица была пустынной. Дубовчане, должно быть, уже давно толпились около клуба, потому как сегодня для этого были особые причины.

Незадолго до того как приготовился Борков идти на собрание, забежал к нему Ненашкин. Он рассказал, что Васька так и оставил свою работу недоделанной, а потом со смехом и прибаутками поведал о слухах, которые стараниями Дарьи мало-помалу сложились в нескладную, но страшную историю.

По словам Ненашкина, Дарья будто бы выпросила у Таймалова, как он съездил в район, и узнала, что у Телячьего брода Борков накинудся на него с кулаками за покалеченную машину, и, если бы не он, Ненашкин, одному богу известно, чем могла кончиться потасовка. Он будто бы разнял их, но примирить не смог, и теперь предстояло рассудить их всем миром на собрании.

Будь у Дарьи на пересуды два-три дня, она, верно, придумала бы что-нибудь и вовсе несусветное. Однако и эта история была достаточно необычна, чтобы всполошить колхозников. Теперь они, конечно, ждали, как скоро появится председатель в клубе, и оттого, что его все еще не было, кое-кто, видно, поверил Дарьиной байке.

Но Борков не торопился. Он уже не счесть сколько раз перебирал в памяти все, что произошло за минувший день, чтобы найти единственно правильное решение, которого следовало ему держаться на собрании, и никак не мог остановиться на чем-то одном. Для Птицы в таких случаях все было ясно сразу, и, на месте Боркова, он наказал бы сейчас Ваську и Таймалова, каждого в той мере ущерба, какой был нанесен хозяйству. Наверно, и Боркову было бы проще поступить сейчас так же, как это делал Птица, но он чувствовал, что это не то единственно правильное решение, какое искал он, и пришел на собрание, так и не склонив свои мысли к чему-нибудь определенному.

В клубе было накурено и тесно. Борков уже не помнил, когда в последний раз собиралось тут столько народу. Те, кому не нашлось места на скамейках, сидели на принесенных из ближних домов лавках и табуретках или стояли в проходах. С задних рядов правой половины зала еще доносился громкий разговор мужиков. В углу, где было потемнее, кто-то с сожалением помянул Таймалова, но главные споры, судя по всему, уже отошли, и, когда Борков появился в клубе, сразу же стихли и эти последние отголоски запальчивых нетрибунных речей.

Борков прошел на сцену. Там, истомившись от ожидания, сидела за столом Зина. Она издавна была бессменным секретарем всех

заседаний и уже приготовила тетрадь протоколов. Открыв собрание, Борков попросил назвать кандидатуру председателя собрания и хотел было сесть, потому как думали колхозники всегда долго, но на этот раз они заранее обговорили, кого выбрать, и, когда он подвинул к себе стул, из задних рядов поднялся дядя Митрий:

— Секретарь уже есть, а собранием руководить тебе поручаем, Сидор Матвеич, — вроде бы спокойно сказал он, но не смог скрыть заинтересованности, и Борков догадался, что колхозники хотят знать, куда и как поведет он собрание и что ждать от нового председателя.

«Эка, хитрецы», — усмехнулся про себя Борков и, даже не глянув на вскинутые руки, вышел из-за стола.

— Речь у меня будет короткая, — чтобы скрыть тревогу, намеренно бодро сказал он. — Вчера мы уже договорились, в какой очередности вести полевые работы. Менять это решение нет никакой надобности. Однако сроки придется перенести. На угорах Медвежьей гривы земля уже поспела. Там нужно завтра же сделать почин. Так же неотложно и строительство новой мастерской.

— Это вот в самую точку! — вскочил со скамейки дядя Митрий, не иначе как с намерением по-стариковски обстоятельно поговорить о важности этой общественной хоромины, но, должно быть, вовремя смекнул, что сегодня есть дела поважнее, и смущенно втиснулся на свое место.

— Я тоже так думаю, — улыбнулся Борков. — Но собрал вас не для этого. О мастерской еще потолкуем на заседании правления. Главный вопрос сегодняшней повестки дня — состояние трудовой дисциплины да то еще, как поднимать нам хозяйство. До большого богатства нашему колхозу далеко, а кой у кого все еще нет настоящего прилежания к артельному делу. Раскидывал, например, нынче Дубов навоз и управился с этой работой очень плохо: только-только кучки потревожил. — Борков говорил медленно. Он старался найти самые простые и убедительные слова, а они не давались, как будто вместе с председательской должностью перенял он и обязательные словечки, какие слышали колхозники уже не однажды и не от первого председателя. Борков и сам не заметил, когда начал, как Птица, требовать повышения показателей, железной дисциплины, и, чувствуя, как все больше увязает в этих казенных словах, он на мгновение умолк, чтобы собраться с мыслями, но на ум не пришло

ничего нового, и он поскорее подытожил свое выступление: — Словом, работать, как Дубов, недопустимо. Я предлагаю оштрафовать его на пятнадцать рублей.

— Это как же понимать, товарищ председатель? — подал голос Васька. — Как понимать? — растерянно переспросил он и тут же сорвался на крик: — Работы там было на пятак, а штраф, значит, пятнадцать рублей!

— Не шуми. Тебе только цветочки перепали, — невозмутимо сказал кто-то из-за Васьки. — Гляди, так Таймалову сотни полторы поднесет. Это вот уже ягодки.

Васька, конечно, расслышал, что ждет Таймалова, но его заботила только своя беда. Он порывался пойти на трибуну. Его чуть ли не насильно усадили обратно, и по тому, как шутили при этом его соседи, как убежденно тверд был голос того, кто предсказывал наказание Таймалову, Борков вдруг понял, что колхозники уже не сомневаются, чем кончится это собрание.

Он оглядел зал, а потом посмотрел в протокол. Зина, как уже решенное дело, записала все, что говорил он, и теперь приготовилась так же безоговорочно занести в затасканную тетрадку штраф Таймалову. А Борков все еще не знал, как поступить с ним. И, верно, так же, как в своей речи, склонился бы в конце концов к тем привычным и обязательным требованиям, которые надлежало ему теперь выполнять, но вдруг представил, как ненадежна и опасна была весенняя дорога, и решительно шагнул к краю сцены.

— Нет, штрафовать Таймалова, я думаю, не стоит. Авария у него случилась не по злему умыслу, — негромко сказал он, но его слышали. В клубе стало тихо, и Борков, будто в пустоту, прибавил: — А навозоразбрасыватель нужен сейчас, как никогда, и надо его поскорее отремонтировать.

— Да что же это такое? Две машины угробил и хоть бы что? — вскинулся над притихшими рядами колхозников отчаянный крик Васьки, но его никто не поддержал. Он смолк, а потом как-то незаметно затерялся среди мужиков.

Колхозники молчали.

Бабы, как вчера, когда выпала возможность без канители сменить Птицу, переглядывались друг с другом, а мужики, как по команде, вытащили папиросы и кисеты.

Первым очнулся дядя Митрий.

— Голосуй, Сидор Матвеевич. Сам говорил — сеять завтра и, стало быть, вставать надо рано, — сказал он и поднял руку.

Но поддержала его поначалу только плотницкая бригада. Колхозники будто никак не могли понять, что же им нужно делать, и только потом, когда дядя Митрий спросил, пришло ли время голосовать, дружно вскинули руки.

Клуб опустел.

Зина торопливо дописывала протокол. Борков сидел на стуле около трибуны. Схлынувшее напряжение оставило после себя непомерную усталость. Она ощутимо давила на плечи, и он не мог заставить себя встать и пойти домой. Он, верно, просидел бы тут еще долго, но вспомнил, что ему нужно подписать сводку, подошел к Зине и спросил о бумагах.

— Ой, Сидор Матвеевич, вы уж извините меня, пожалуйста, я ведь их в правлении оставила, — не подняв головы, виновато сказала Зина и еще ниже склонилась над столом.

«Чего это она?» — удивился Борков и уже пошел было от стола, но вдруг увидел, как она проворно придвинула к себе под руку несколько листиков разграфленной бумаги.

Среди них была и сводка.

Борков углядел только итоговую цифру. Она осталась неизменной и по-прежнему свидетельствовала о немалых достижениях дубовского колхоза.

Зина поняла, что Борков заметил ее вороватое движение, зарделась, подала ему протокол, а когда он, не читая, расписался в нем, быстро собрала бумаги и, будто спеша догнать кого-то, опрометью кинулась к дверям.

Домой Борков возвращался один.

Таймалов после собрания какое-то время маячил среди механизаторов, а потом неизвестно когда ушел из клуба. Но Борков чувствовал его рядом с собой, по привычке уступал ему дорогу, оскользнулся и снова выходил на середину едва намеченной тропки. Он еще не отрешился от собрания, еще вставали перед глазами то разгневанный Васька, то настороженные лица колхозников, однако уже улавливал знакомые послеполуночные звуки. На конце деревни неохотно лаяла собака, на пруду распаленно кричали дикие ут-

ки, и с минуты на минуту в эту перекличку потаенной ночной жизни должны были вступить горластые дубовские петухи.

Борков прислушался, но вместо ожидаемого хлопанья крыльев от мастерской донеслись едва внятные удары по железу и дробный стукоток сразу нескольких молотков. Он умерил шаг, потом остановился; очень похоже, случилось, постукивал на ветру полуоторванный лист железа на крыше кузницы, но не разобрал, что это, и, уже не дожидаясь, когда загорланят петухи и окончательно смешают все звуки, повернул к мастерской.



Алексей Домнин

Я

НИКОНОВЫ

лежу у костра и смотрю в ночное небо. Оно низкое, мутное, неподвижное. Пахнет тиной и влажным дымом.

Есть хочется.

— Давай спать, — говорит Анатолий, а сам сидит не двигаясь, обхватив руками колени. — Интересно, как он будет доить корову? Вымя оборвет.

Я тоже думаю о Володьке. О том, что на штанах у него неумело

пришитые светлые заплаты, что громадные сапоги хлюпают на ногах. Когда мы были в его избе, по-холостяцки пустой и неуютной, я спросил:

— Один живешь?

— Знамо дело, — усмехнулся он. — Сваталась одна вдовушка — ей без мужика тоже не резон. Только я не согласный. Баловство от семейной-то жизни.

— Почему баловство?

— Сирот плодить.

Мне стало не по себе от его жестокого прищуренного взгляда. Пропала всякая охота спрашивать.

Познакомились мы с Володькой несколько часов назад. Приехали в деревню и гадали у крайней избы, где можно попросить лодку.

На крыльцо вышел невысокий кряжистый парень в синей навывпуск рубахе, присел на корточки и принялся нас рассматривать. Он склонил голову чуть набок и, казалось, пытается разглядеть что-то за нами. Он давно не стрижен, спутанные выцветшие волосы прикрывают брови. Трудно определить возраст парня — не то ему семнадцать, не то двадцать пять.

— За утками? — спросил он равнодушно.

— Да приехали вот...

— Поди, лодка нужна?

— Нужна.

Парень посмотрел на свои грязные босые ноги, подумал и сказал:

— Без лодки вы никуда...

Встал и пошел в избу. А как же лодка?

— Мы заплатим, — поспешно заговорил Анатолий.

Парень глянул на него так, словно не понял, о чем идет речь. Потом нахмурился и с обидой ответил:

— Сами зарабатываем.

И ушел. Мы стояли обескураженные. Анатолий решительно крикнул:

— Дашь лодку, хозяин?

— Я же сказал, возьмите под горой, у сухой березы, — с досадой проговорил парень из темных сеней.

Маленькая черная плоскодонка была просмолена до самых уключин. Спустили ее на воду, начали укладывать вещи.

— Без весел пойдете? — спросил насмешливый голос. Оба

вздогнули. Сзади стоял наш новый знакомый и рассматривал свои ноги. Вдохнул и побрел по тропинке в гору. Мы поспешили за ним.

— Патронташи-то у вас полнехоньки, едят тебя мошки, — проговорил он и остановился, о чем-то думая.

— А у вас плохо с припасами?

— Как сказать? Пороху нет, зато спички есть. Селитрой тоже метров на десять бить можно.

Он вдруг предложил нам оставить вещи в избе и на ночь вернуться в деревню. А с рассветом, как подоит корову, он и сам с нами поедет.

К заболоченным вырубкам мы добрались уже в сумерках. Возвращаться в деревню не было никакой охоты. Сто раз мы пожалели, что оставили у Володьки рюкзаки. Даже чай вскипятить не в чем.

И вот сидим у костра и ждем рассвета. Ждем, когда приедет Володька и привезет нашу провизию.

Проснулся я от холода и шума. В первый момент не мог понять, что произошло. Быются о берег волны, мечутся жидкие кустики ивы, словно силятся вытащить увязшие корни. Ветер. Какой ветрище!

Уже рассвело. Но стоит ли уходить от костра?

Заворочался Анатолий.

— Чайку вскипяти.

— Какао не хочешь?

Анатолий огляделся и погрустнел.

Чтобы скрыться от ветра, мы спрятались за уложенные в штабель подгнившие бревна и решили, что самое разумное в нашем положении — досматривать прерванный сон.

Не спалось.

Анатолий ушел бродить по камышиным болотцам и вернулся с двумя тощими карасиками в ладони — достал их из забытой кем-то дырявой верши. Рыбешки тут же были поджарены на прутике и с великой тщательностью обглоданы.

Лучше бы их не было, тех карасей. Только раздражили.

Тяжелеют тучи, выгнулись над водохранилищем, вот-вот лягут на него брюхом. А под ними, совсем низко, плывут белые облачка. Словно сорвал ветер клочья пены и гонит их, легкие, как дым. И чу-

дится в тугом шуме ветра и грохоте моря, будто кричит кто-то или поет. Да, поет! Ни мотива, ни слов не разобрать, доносятся только выкрики.

— Лодка! — испуганно шепчет Анатолий. — Видишь? Вон там... Пошла ко дну... Все.. Нет, опять!

Мы забрались на бревна и напряженно следим. Она то взмывает на высокий гребень, то снова исчезнет. А гребец поет! Пьяный, наверное... Прямо на нас правит, по ветру. Уже хорошо видно человека, весла. Вот волна обрушилась на корму... Вторая. Зальет посудину!

— Сильней гребите! Сильней! — кричим мы. — Еще немножко!

— А ведь это Володька, — говорит Анатолий, побледнев. — Честное слово, он. Я сейчас ему покажу, безмозглому!

Мы мчимся к реке, что-то кричим, машем руками. Крутая волна подхватывает плоскодонку, выносит ее на песок. Лодка полна воды. Удивительно, как она еще держалась?

Володька спокоен, немножко возбужден. Нет, он не пьян. Деловито помогает нам вытаскивать лодку, выгружать мокрые рюкзаки. На нем нет сухой нитки. Рубаха липнет к телу, штаны стали жесткими, будто брезентовые.

— Хлеб, наверно, подмок, — виновато говорит Володька.

Он достает с кормы ружье. Из ствола течет вода.

— Какой черт тебя понес в эту непогоду? — заругался Анатолий.

— Обещал, — удивленно ответил Володька.

— Обещал! А утонул бы?!

— Ну уж и утонул! Я в сенокос во-он там опрокинулся, на самой глубине. Сапоги утопил. Нырял, нырял, еле добыл.

Мы опять устроились за бревнами. Развели костер пожарче, выжали Володькину одежду, развесили ее на рогатинах вокруг огня.

Володька присел на корточки, нагой, в пудовых своих сапогах на босу ногу. У него широкая и сутуловатая, как у грузчика, спина. Лицо и шея темные и обветренные, а тело почти не тронута загаром.

Он зябнет, придвигается ближе к огню. Поминутно вздрагивает и трет обожженную искрой кожу. Анатолий набросил на его плечи ватник. Не утерпел и осторожно, чтобы не обидеть парня, спросил:

— Почему ты сказал тогда, что от семейной жизни баловство? Неправильно ведь это.

Володька снял с рогатины штаны, помахал ими над огнем. Одна

штанина подсохла, и серая заплатка на коленке стала еще светлее.

— Ну и пускай неправильно. А его я все равно доканаю.

— Кого?

— Прохора Никонова.

— А кто он такой, Прохор Никонов?

Володька засопел, глухо ответил:

— Отец мне. — И стал торопливо и нервно одеваться.

— Зря ты на отца так, — растерянно сказал Анатолий. — Ну, не поладили, бывает...

— Не знаешь ведь, едят тебя мошки, — выругался Володька. Взгляд его стал злым и колючим.

— Ну не знаю. Все равно отец...

— Когда нужен был — его нету. А теперь появился, красное солнышко. Я бы всю эту водку — всю в реку спустил. Нет, в помойку бы. Не к чему реку поганить.

— Пьет он, Прохор? — машинально спросил Анатолий.

— Сейчас нет, раньше было, когда в метеесе работал механиком. С продавщицей тамошней загулял. Домой-то лютым быком входил — рога к земле и взгляд по полу. Раз мы с мамкой босые через всю деревню скакали. Зимой. Оттого мать хворой сделалась и умерла. А Прохор со своей кралей в город сбежал.

Володька помолчал и заговорил вдруг быстро, почти на крике. Голос звенел от обиды.

— Потом в леспромхозе был, выбился в начальство... Теперь в колхоз прикатил. Представитель рекомендует на собрании его в председатели: человек, мол, известный, с образованием. Колхозникам долго думать недосуг — страдное время. Не стерпел я. «А вы забыли, — кричу, — что Прохор прошлое имеет! Забыли, едят тебя мошки?» Представитель давай углы сглаживать: так, мол, и так, исправился Прохор, за одного битого двух небитых дают. Мы, мол, за него теперь ручаемся. Избрали Прохора... — Исправился, — с обидой ворчит Володька. — Кривую душу разве выправишь?

Хлестнуло дождем. Костер зашипел и задымился.

Мы поспешно начали запихивать под бревна и без того промокшие рюкзаки. Зло ругались на дождь, на рюкзаки, которые не лезли меж бревен, но думали вовсе не о них.

К ночи вернулись в деревню. Володька ушел, а мы решили воспользоваться этим, чтобы поговорить кое с кем в деревне.

— К самому Прохору ступайте, — сказал нам парторг. — Сам-то он лучше объяснит. А потом ко мне, если будет нужда.

Что ж, сходим к Прохору.

У пузатой печи, облезшей и закопченной, возилась высокая старая женщина с усталым изможденным лицом. Пахло молоком и свежим ржаным хлебом. В переднем углу над столом, видимо, еще недавно висели иконы — на серых обоях остались светлые квадраты.

Прохор вышел к нам из другой комнаты в нижней рубашке и наброшенном на плечи потертом кителе.

Он совсем не был похож на того злодея, каким я представлял его. У него широкое, в резких морщинах лицо. Чем-то он напоминал Володьку — такой же колющий взгляд исподлобья, тяжелый подбородок и крупные губы.

«Совсем седой», — отметил я про себя почему-то с сожалением. Прохор долго рассматривал мое удостоверение и, вздохнув, пригласил присесть.

— Чем могу быть полезен?

— Мы разговаривали с вашим сыном, — начал я ледяным тоном, — он говорил о вас много нехорошего.

Прохор кивнул и стал медленно тереть клеенку узловатым пальцем.

— Владимир говорил правду. Добавить ничего не могу. — Он поднялся, давая понять, что разговор окончен.

Мы сидели растерянные. Прохор ничего не опроверг, но уверенность в нашей правоте куда-то уходила.

— Ишь, заупрямился, — заругалась старуха. — Чай, не зазря люди пришли, знать желают. А ты их — по шеям. Вот, милые сыны, — обратилась она к нам, — говорят, что любовь в добрых делах помощница. А еще неизвестно, чего больше — доброго аль худого от любви сделано.

— Ладно, тетка Даша, — поморщился Прохор, — не ввязывалась бы.

— А вот и ввяжусь. Пусть им чужая беда в науку пойдет.

Старуха оперлась на ухват, рассказывала задумчиво и напевно, как печальную песню.

Женился Прохор случаем. Загадал, с войны возвращаясь: какая девка на шее повиснет — та и невеста. Тогда из неметчины легче

было пешком дошагать, чем приехать: в поездах народу пропасть, на крышах места с боем берут.

На какой-то малой станции пристроился Прохор на подножку, еле держится. А тут еще бабенка с мешком за шею уцепилась. Поезд ход набрал, бабенка визжит, сдавила ему шею изо всех сил и коленками колотит. Так и проехали они целый перегон. А потом на крыше теплушки свадебку отгуляли.

Первые годы, что страдные дни, — обживались, налаживались. Прохора главным механиком сделали.

Механицкое дело — не бухгалтерия, вовремя не уйдешь. Стал Прохор пропадать в мастерских сутками, неделями. А дома попреки, скандалы, мол, полубовницу завел. Сперва отмахивался, потом злиться начал, потом залютовал — бабья ревность кого хочешь высушит.

От несправедливой обиды запил и действительно нашел зазнобу. И влюбился, да так, что отшибло память.

Марфушка готова глаза Марье Зубатиной выцарапать, срамит на всю деревню. А Прохор пуще лютует. Пьяный — он дурной, домой заявится — спасайся кто может!

С работы его выставили. Но и тогда не отрезвел. Подались они в город. Да только хвосты у Марьи по магазину остались, и упекла она Прохора под суд за свои растраты.

Потом уж узнал, что жена скончалась. Вернулся домой — сын его выгнал. Тринадцать лет было тогда Володьке.

— Сейчас-то зачем приехали? — вырвалось у меня.

— Не знаю. Зря приехал. Думал, сгладилось, — вздохнул Прохор.

— Ничего не зря, — резко оборвала его старуха.

— Не простит он меня, тетка Даша.

— Не простит, — заворчала старуха. — Простить легче всего. А вот обиду избыть — не просто. Я, может, тоже тебя не прощу. А вот говорю с тобой, у себя поселила, радуюсь, что человеком обернулся. Покажи себя, какой ты теперь есть, — смотри, мол, сын, и суди.

Мы простились с Прохором Никоновым, крепко пожав ему руку.

— Оплел, — с обидой сказал Володька, когда мы стали убеждать его помириться с отцом. — Вот тут мамка стояла, когда Прохор со своей кралей в город отъезжал. — Володька показал на угол

печи. — Схватилась за грудь и сползла на пол. Бросился я к ней, трясую за руки и чувствую — деревенеют они. В тот раз она оправи-лась. Да ненадолго... Мириться! Да нам, едят тебя мошки, и соседя-ми не бывать!

С тяжелым чувством распростились мы с Володькой.

Съездить к нему больше не удалось. Я отправил ему посылку с порохом и дробью и просил написать о себе.

Но Володька приехал сам в начале зимы. Заявился прямо на работу в желтом потертом полушубке и лохматой собачьей шапке. Не отвечая на вопросы, вытащил из мешка окорок.

— Вот. Тебе. И Анатолию.

У меня пылали щеки.

— Как мне? Зачем?

— За порох.

— Ты что? Я тебе просто так, как товарищу.

— И я как товарищу. — Он посмотрел на меня удивленно и по-дозрительно.

— Вот послал человеку пороху, — оправдывался я перед сотру-дниками. — А он, на тебе, окорок.

Ну пойми, Володь, порох стоит пятерку, а окорок.... — Я не знал, сколько стоит окорок, и запнулся.

— Брезгуешь? — рассердился Володька.

Он скомкал мешок и пошел к двери.

Ну и характерец! Еле удержали парня.

Вечером мы сидели у Анатолия и пробовали недокопченный сочный окорок.

— Прохор все еще в председателях? — осторожно спросил я Володьку.

— Угу, — вздохнул он.

— Ну и как вы с ним?

— Да так, — пожал плечами Володька. — Долгая история.

Круто взялся Прохор за колхозные дела.

— Горяч, — с надеждой говорили одни.

— Ретив, — подозрительно морщились другие.

Снятый с бригадиров Ерин, бросовый человек и деревенский сердцеед, подзуживал Володьку:

— Мы молчим, а он нас кушает. Он кушает, а мы молчим.

У Ерина были круглые темные глаза и неподвижный, со складкой затылок. Прохор подарил ему будильник на общем собрании, чтобы не спал до полудня. Ерин был глубоко оскорблен.

Полетели в район продиктованные Ериным письма за подписью «Владимир Никонов и группа колхозников». «Просим снять с председателей колхоза «Луч» Прохора Никонова, потому как есть он недостойный элемент, имеет прошлое и занимается уничтожением человеческой личности».

Под группой колхозников и «уничуженной личностью» Ерин подразумевал себя.

А Володька рад был и этому союзнику.

Одна за другой приезжали в деревню комиссии — из райкома, из райисполкома, из редакции газеты, разбирались, разводили руками, пытались увещевать Володьку. Володька никого не хотел слушать и понимать. Увещевания только сильнее распаляли в нем ненависть к отцу. Во всем видел он стремление Прохора выслужиться перед начальством, силой и хитростью заставить забыть о его прошлом. Володька отказался от ремонта дома за счет колхоза, демонстративно не ходил на общие собрания.

Работать он любил, работать с веселой злостью, до смертельной усталости. Однажды остался на третью ночь молотить зерно на току. Ерин сказал ему, угостив длинной золоченой папиросой с кислым залежалым табаком:

— Своим старанием обеспечиваешь славу Прохору?

Володька смутился и ушел домой.

Засела в голову эта мысль: если он для колхоза, значит, и для Прохора, если против Прохора, значит, против колхоза? Как же быть?

— Ушлый он мужик. Крепко в артель вцепился, — сказал Ерин. — Посмотришь, как он приберет в личное пользование дачу у Воробьиной купели.

За деревней была небольшая рощица. У самой дороги из-под корней горбатой сосны выбивался родничок. Он не замерзал зимой, и в студеные дни в нем купались голуби и воробьишки. Потому и звался родничок Воробьиной купелью, а деревня — Талицей.

У рощи срубил себе дачку прежний председатель — высокую, с верандой, окнами на восход. Уезжая, он продал дачку колхозу.

На заседании правления решили переселить туда Прохора: не к лицу председателю маяться без квартиры.

Но Прохор отказался, вопреки предсказаниям Ерина. По деревне пошли пересуды: неспроста, на сторону лыжи вострит. От добра так просто не отказываются. Ерин злорадствовал. Он прибежал к Володьке, запыхавшийся и довольный.

— Еще бы одно заявление сочинить: мол, дезертирует председатель, не имея высокой к тому ответственности.

Володька сперва обрадовался, но, когда Ерин ушел, скрипя сапожками, ему стало тоскливо и одиноко.

Он вышел во двор. Заметил, как покосился столб у сарая. На крыльце скovyрнулась доска. Он поправил доску и прибил ее. Подумал: совсем дом запустил. Вон и крыша зазеленела.

Обидней всего было то, что Прохор так неожиданно сдался. Теперь он казался Володьке маленьким и несильным.

На полях убирали последнюю картошку. Всю неделю шли долгие, обложные дожди. Земля была жирной и скользкой, лаптями налипала на сапоги.

Володька с бабой Любой носил в носилках-ящике картошку из кучи к машине. Было удивительно, откуда в бабе Любе, этой высокой сухой старухе, мужская сила и проворство. Она перебирала грязную картошку и ухитрялась не запачкать фартук и телогрейку. Каждый раз, когда уходила груженная машина, баба Люба начисто мыла резиновые сапоги и руки. Она спросила Володьку, когда они отдыхали на ящике:

— Правду говорят, что Прохор уезжать надумал?

Володька пожал плечами.

— У нас доведут, — несмело сказала баба Люба.

Володька выругался и встряхнул носилки.

— Берись! Расселась, едят тебя мошки.

И баба Люба безропотно взялась за носилки. До самой темноты они таскали и грузили картошку, ни разу больше не присев отдохнуть. Володька видел, что баба Люба валится с ног от усталости, ему было жалко старуху, но не мог найти в себе силы сказать, чтобы она отдохнула.

Кончилась уборка. В деревне стоял запах паленой щетины. С рассвета в каждом доме пекли, жарили, парили. Мужчины прикладывались к бочонкам с брагой — проверяли, поспела ли.

В клубе было собрание. Прохор коротко рассказал о делах, потом вручали премии отличившимся. Володька ждал, что назовут его фамилию. Тогда он демонстративно уйдет. Он сидел с безразличным видом и зевал, чтобы скрыть волнение. Но его не называли.

— Последняя наша премия, — объявил Прохор, — бабе Любе. Все вы знаете эту скромную женщину. Трех сынов проводила она на фронт, ни один не вернулся. Внучку на ноги подняла. Сколько сил отдала артели и себе ничего не просила. Домишко ее, как с похмелья стоит. Решили мы на правлении подарить ей от колхоза дачу у Воробьиной купели. Обживай ее, баба Люба!

— Ладно придумано! — выкрикнул кто-то. Поднялся восторженный шум. Володька не заметил, что азартно аплодирует вместе со всеми.

Баба Люба привстала, растерянно развела руками. Только и сказала:

— Да ну вас. — Хотела что-то добавить, но отвернулась и заплакала.

У Володьки подступила к горлу теплая волна.

Дома он взял ружье. В радостном возбуждении бродил по лесу. Он не мог понять, отчего эта радость, и злился. Было морозно, под ногами со звоном хрустели смерзшиеся палые листья.

Вернулся он к вечеру.

На даче у Воробьиной купели уже справляли новоселье, а заодно и конец страды. Туда приволокли всю снедь и выпивку, заготовленную в каждом доме.

Подгулявшие мужики пришли за Володькой и, как он ни отбивался, за ноги, за руки потащили через всю деревню. Так и внесли с хохотом в дом.

Володька сразу увидел Прохора. Он сидел во главе стола, что-то горячо объяснял бабе Любе. Видимо, подвыпил, щеки его разрумянились, а нос стал белым. Володька сразу вспомнил, как Прохор, такой же разрумяненный, плечом вперед, вваливался домой и стоял, покачиваясь посреди комнаты: «Ну, пришел я», — и отбрасывал на лавку полушубок и шапку.

В бешенстве рванулся Володька, ударил кого-то локтем. Его отпустили. Кто-то протянул ему стакан с бурой ячменной брагой. Он выбил стакан, бросился к двери, выбежал на улицу.

Всю ночь, поставив на кряж керосиновую лампу, он с остервенением пилил и рубил дрова. Ночь была яркая и звездная. На бревнах искрился иней. На другом конце деревни кричали и пели песни. Володька был готов реветь от обиды, бессилия и одиночества.

Зима началась с крепкого мороза, снег еще не выпал, только в борозды и канавы намело свежей крупки.

Водохранилище стало за одну ночь. Было непривычно смотреть на ровный сверкающий простор. Казалось, подует ветер и закачается волнами лед.

Володька давно ждал этого утра. Он закинул на спину мешок, сунул за пояс топор и прикрутил к валенкам ржавые свои «снегогурки».

Лед был упругий, зеленовато-прозрачный.

Володька вздохнул и с места помчался к другому берегу. Лед звенел и прогибался под ним. Свистящий стон гулко раскатывался в утренней тишине.

Сердце замирало от быстрого бега.

У другого берега, где вмерзли по пояс молодые березки, Володька передохнул. Здесь были мелкие заливы и озерца. Мерзлая седая осока торчала из льда. Володька достал топор. Теперь он пошел осторожно, вглядываясь в дно. Как сквозь тонкое мутное стекло видны водоросли, песок. Мелкие рыбешки лениво шевелят хвостами.

Почему-то при первых морозах рыба любит стоять в траве у самого берега. Вон почти втиснулся в маленькое пространство между дном и ледяной коркой фунтовый язенок. Володька подкрался и ударил обухом. Лед спружинил, откинув удар коротким выстрелом. Язенок стал медленно поворачиваться на брюхо. Володька вырубил лунку, достал язенька и сунул в мешок.

Гребешок солнца поднялся за перелеском, огромный, оранжевый, холодный. Вблизи лед был фиолетовый, а дальше — красный.

За полчаса Володька набил мешок рыбой и тяжело взвалил его на плечи.

Деревня уже вся проснулась. Мычали коровы, громыхала телега по замерзшей дороге. На угоре собрались женщины, с тревогой показывали на мчавшегося с другого берега парня.

— В-жих, в-жих, в-жих, — визжал лед под копытами. Володька спокойно набирал скорость. С мешком было неудобно, тяжесть тянула назад.

Лед колыхался под ним волною, лопался трещинами.

С женщинами стоял и Прохор, бледный, плотно сжав губы. Володька стал обходить полынью и сбил нечаянно шапку. Он притормозил и кругом пошел к шапке. Лед звонко хрустнул.

— Брось шапку! — заголосили женщины.

Володька рванулся, подхватил шапку и что есть силы помчался вперед. Сзади разливалась темная вода.

Прохор выхватил жердь из плетня и скатился вниз. Володька на скорости ткнулся в берег, побежал и упал на руки Прохору. Мешок шлепнулся на землю, из него вывалились широкие, как самоварные подносы, леши.

От разгоряченного лица Володьки шел пар, волосы прилипли ко лбу.

Прохор схватил его за грудки.

— Душу ты из меня вытряс, идол контуженный!

Он отбросил Володьку и зашагал в гору.

Володька опешил. Непонятная теплота подкатила к сердцу. Вспомнил, как прежде запирали его Прохор в чулане, когда становилась река. Отхлестал однажды, когда Володька чуть не утонул. Родитель!

Он медленно натянул до глаз шапку и стал собирать рыбу.

...Рассказывал Володька обо всем этом с какой-то растерянностью и обидой. На себя злился. Он и сейчас не мог понять, что произошло.



Клавдия Рождественская

СЕСТРЫ

Ночь Анна Семеновна спала плохо и утром встала разбитая, хмурая. Отведя сына в детский сад, начала готовить мужу завтрак.

— Мало гуляешь, — заметил муж, когда она пожаловалась на перебои сердца, мучившие ее всю ночь.

— Это верно, — согласилась она. — Какая-то я нынче стала домоседка. Никуда не тянет, даже в театр. Это все ты виноват.

— Ну-ну, — добродушно отозвался он и, поправляя перед зеркалом галстук и черные, начавшие редеть волосы, спросил: — Ты когда-нибудь скинешь свой халат? Как облачишься в него, так до полуночи.

— Удобно в нем, да и кто меня видит, — сказала она, и оттого, что как ответилось, ей стало жаль себя до слез. Вот он уходит, а она на весь длинный день остается одна, сама с собой.

— Я немного задержусь сегодня, — сказал муж, взяв кожаный, с множеством застёжек портфель.

Уходя, он не улыбнулся ей, не взглянул. Хмурясь, она постояла у окна. Над мокрыми крышами лениво тянулась снизу, от кочегарки, полоса желтеющего дыма. На подоконнике опять лежал черный слой зернистой сажи, неведомо как проникшей через наглухо закрытую форточку. Сметая пыль, думала: «Вот это он не считает за работу».

С улицы доносились отдаленное грохотанье трамвая, детские голоса, сигналы машин. Где-то заливисто пропел петух, и тотчас за ним долетел с реки протяжный гудок парохода. Почему-то вспомнилась вдруг деревня Липовка и сестра Анфиса, которой она так и не ответила на последнее письмо.

Чтобы растянуть домашнюю работу на весь день, Анна Семеновна неторопливо смахивала со стен паутинку за паутинкой, неторопливо стирала носовые платки, неторопливо готовила себе легкий завтрак. Есть одной не хотелось. Вслух спросила: варить суп или нет? Муж обедал в торговделе, Гера — в садике. Готовить для одной себя не было никакой охоты.

Сегодня в двенадцать была назначена в мастерской примерка летнего пальто, и мысль об этом оживила ее. Собрав скудные кухонные очистки и мусор в пакет, Анна Семеновна спустилась во двор. На обратном пути встретилась с соседкой и полчаса говорила с ней о разных общежитейских вещах: прогнали ли из кочегарки пьянствующего слесаря, почему не закрывается вход на чердак и кто из ребятишек постоянно подбрасывает котят и больных кошек.

Домой возвратилась повеселевшей. Уже не так томила тишина просторной квартиры, менее тягостно было одиночество. С удовольствием окинула взглядом ярко-желтый, сверкающий натертый паркет, высокие стены, затянутые коврами, кухню, залитую светом.

Перед уходом в мастерскую долго всматривалась в свое отражение в зеркале. Глаза показались тусклыми, бесцветными, кожа вялой, бледной. Отвернувшись, сказала огорченно:

— Совсем подурнела.

Хотела подкрасить губы — раздумала. Надела шапку и пальто, уже отойдя от зеркала. Казалось странным, что еще три года назад она с увлечением танцевала, пела, спорила о книгах, и муж даже серьезно ревновал ее к одному из своих приятелей.

Из подъезда вышла, против обыкновения, торопливо. Но не успела пройти и пяти шагов, как кто-то сзади прокричал неестественно громким голосом:

— Нюра!

Анна Семеновна обернулась и неожиданно увидела перед собой сестру Анфису с мешком и баулом в руках. Поодаль, у водосточной трубы, сидела на корзине незнакомая старуха в шали.

— К тебе приехала! В гости! — громко, как все глухие, сказала Анфиса и с радостным стеснительным смешком поцеловала сестру.

— Вы давно здесь? — обратилась Анна Семеновна к подошедшей старухе.

Оказалось, деревенские гости приехали с первым утренним парходом и до сей поры скитались по этой улице, не зная точно, в каком доме ее искать.

Анфиса переводила быстрый, живой взгляд то на сестру, то на свою спутницу и, наконец, уразумев, о чем идет речь, сказала с радостным смехом:

— Тебя искали! Адрес-то я забыла!

— Вы тоже из Липовки? — спросила Анна Семеновна, вглядываясь в лицо старухи. — Где-то я вас как будто видела.

— А мы из колхозу «Первое мая», Кланьку Проскурякову помните? Она мне племянницей приходится. Здесь, в городе живет.

Пока шел разговор, Анфиса стояла неподвижно, сложив руки на животе. Маленькая, худенькая, в широкой цветной юбке и поношенной короткой жакетке. На голове желтый кашемировый платок, повязанный концами наперед. Догадавшись, о чем говорит старуха, Анфиса махнула рукой в ее сторону:

— Ивановна меня привезла. Я давно к тебе собиралась, — крикнула она с веселым оживлением на худом, морщинистом лице. — Все некогда. Ты, поди, меня не ждала?

Анна Семеновна ответила ей короткой рассеянной улыбкой. Думала: что же делать с гостями? Откладывать примерку не хотелось.

— Да вы о нас не беспокойтесь, — сказала старуха, узнав, что ее затрудняет. — Я к Кланьке пойду. А Семеновна пусть со мной прогуляется. Отдохнем, я ее и приведу.

И старуха добрым, жалеющим взглядом окинула Анфису. Когда Анфисе растолковали, куда надо пойти сейчас, она с радостной готовностью закивала головой.

— Ладно, ладно! Я на дома погляжу. Котомки только возьми.

Отнеся вещи в квартиру и проводив гостей до угла, Анна Семеновна поспешила в мастерскую.

Против ожидания, там задержалась долго и ушла недовольная. Как ни упрашивала заведующего сшить пальто к празднику, — отказал: много заказов. Думала с закройщиком наедине стовориться, но упустила момент. Его вызвали куда-то, напрасно прождала чуть ли не час. Уж подходя к дому, вдруг вспомнила об Анфисе.

В кухне лежали баул и мешок из синей домотканой холстины; Анна Семеновна пощупала мешок: чем набит? Что-то большое и мягкое. Понюхала — будто мясом сырым отдает. Вымыв руки, стала готовить обед. Очищая картошку, озабоченно соображала: где будет спать Анфиса? Устроить ее в той комнате, где спят Гера и она, неудобно. Анфиса, наверное, и сейчас бормочет во сне. Если в кухне (лучше всего бы) — обидится, пожалуй...

Приезд сестры почему-то больше беспокоил, чем радовал, хотя не видались они почти десять лет. В последний раз Анна Семеновна была в Липовке в сорок четвертом году, когда училась на третьем курсе педагогического института. Ехала к Анфисе как к родной матери. С годами связь с Липовкой ослабела. По окончании института побывать в деревне не пришлось: устраивалась на работу. А потом и вовсе оторвалась от дому. Не до того было: замужество, ребенок, хлопоты по квартире. С Анфисой переписывалась редко. Писагы, по существу, было не о чем. В школе проработала недолго — три года. И сейчас, когда ребенок начал ходить в сад, жизнь текла в узком домашнем русле. Квартира да рынок. Изредка, если у мужа выдастся свободный вечер, — театр или кино. Но чаще всего она сидит дома. И дни похожи один на другой.

Анфиса мало писала о себе, больше о том, кто из знакомых девчат вышел замуж, у кого родился ребенок, кто умер. Из ее коротких

листочков, покрытых крупными карандашными буквами, трудно было даже узнать, что она делает. Прежде была на разных работах: «куда пошлют».

Приезд сестры нарушал привычный распорядок жизни, а ее дорожная котомка и баул, забрызганные грязью, уже одним своим видом вызывали неясное беспокойство.

Часы показывали шесть. Анна Семеновна сходила за сыном и на улице долго вглядывалась в прохожих — не идет ли сестра?

Вскоре пришел муж. Развернув газету, задал свой всегдашний вопрос:

— Ну, что нового?

— Анфиса приехала.

— Анфиса? Где же она?

— Старуха одна увела ее к себе.

— Старуха?

Он ничего не понимал. Когда она рассказала ему все обстоятельства встречи, спросил:

— Ты, кажется, не рада?

— Рада, как не рада. Сестра родная. А все-таки что-то беспокоит, чем-то недовольна. Вот не знаю, куда ее уложить спать.

— Проблема, — муж засмеялся. — Я могу перейти на диван, а она там. — Он показал на свою комнату.

— Нет-нет. Пусть спит на диване.

Анфиса явилась уже в сумерки в сопровождении Ивановны. Обе они степенно осмотрелись по сторонам и подставленные им стулья отодвинули подальше от ковровых дорожек.

— Вы уж не обижайтесь, что поздно, — сказала старуха. — Племянница задержала. Как раз у нее пельмени капустные были. Поели да чаю попили, вот время-то и пролетело. Семеновна шибко рвалась к вам, я побоялась одну ее отпустить. Глухая, а тут машины, все может случиться.

Анфиса с напряженным вниманием следила за движением ее губ.

— На машине ехали сюда, потом на пароходе, — громко, с нотой вызова в голосе, сообщила она. — Машина повезла, только сгуркала. Я сказала себе — не буду бояться, и поехала. Бояться, так с места не сдвинешься.

Все засмеялись, не столько над ее словами, сколько над тем, с

каким решительным лицом и размахом руки произнесла она эти слова. Анфиса тоже засмеялась и заговорила еще громче.

— Меня отговаривали бабы: «Издержишься за дорогу». Я говорю: «Деньги все одно летят. Сейчас не съезжу — никогда не съезжу. Хоть сестру увижу, узнаю, как она живет». На шубу берегла деньги. А что шуба? Старая с плеч еще не сваливается, пробегаю эту зиму.

Анна Семеновна поспешила переменить тему разговора. Сказала сыну, с любопытством посматривающему на гостей:

— Гера, подай ручку тетям.

Гера не торопился отойти от матери. Стоял, не спуская с них черных внимательных глаз.

— Не хочет, — заметила старуха.

— Гера! — сказала Анна Семеновна уже строго. — Подойди и поздоровайся!

Мальчик нехотя сдвинулся с места. Анфиса, вложив нежную ручонку в свою широкую грубую ладонь, притянула его к себе.

— Смугляк. В отца, видно. Наша порода белая телом.

Посидев немного, старуха заторопилась домой. Наклонившись к Анфисе, крикнула ей на ухо:

— Приходи к нам. Найдешь дорогу-то?

Анфиса рассмеялась:

— Не найти мне.

— Я приду за тобой, — крикнула старуха и ушла.

Из кабинета вышел муж. Поздоровался с Анфисой и, присев около нее, с уважительным вниманием стал расспрашивать о колхозной жизни. Анфиса отвечала не стесняясь, хотя она впервые видела этого широкоплечего, начавшего рано толстеть, человека с большими черными очень ясными и добрыми глазами.

— Укрупнение у вас было, конечно? — спрашивал он.

— Было, как не было. С «Первомаем» соединились.

— А председатель хороший?

— Дело свое ведет.

Виктор Михайлович повторил последние слова и, лукаво блеснув глазами в сторону жены, сказал:

— Отвык разговаривать с народом... Нехорошо...

Как ни охотно отвечала Анфиса на вопросы хозяину, все-таки заметно было, что они тяготили ее. Хотелось ей поговорить с сест-

рой о своем, душевном. И как только Виктор Михайлович, закулив, сделал паузу в расспросах, она прошла в кухню и там, порывшись в бауле, вытащила парусиновый, перемятый в дороге, костюм.

— Мне Настька Устиниха шила, — радостно выкрикнула она, раскинув его перед сестрой. — Пять рублей взяла. Теперь франтить буду. Настька-то замуж вышла за Антонку Иванова из «Первомай». Право, право! Ничего парень. С армии пришел. А Раиска Морозова еще не вышла замуж. Ходит с Алешкой Прохоровым. Скоро, знать-то, просватанье будет. Нынче уж две свадьбы сыграли у нас.

Анфиса говорила с каким-то особенным нажимом на каждой фразе. Прокричит с силой два-три слова, помолчит немного, словно собираясь с духом, и опять выпалит.

— Тебя поминают наши. Говорят: «Вот Нюрки нет, попасла бы она овечек». Шибко тобой довольны. Ждут, когда ты приедешь. Забыла, поди, как овечек пасла?

Анна Семеновна улыбнулась глазами. Все, что рассказывала сестра, было ей забавно, но мило, и временами чудилось, что это не Анфиса перед ней, а мать. Так схожи они были по голосу, по манере держаться, по отдельным чертам лица. Сходство то пропадало, то возникало, и она, не отрываясь, следила за Анфисой, стараясь еще и еще раз уловить и навсегда запомнить знакомые дорогие черточки.

— Мы союзно жили, — рассказывала Анфиса, обращаясь к Виктору Михайловичу. — Выше мамы никого не было. Уж что прикажет, то и делали. Бывало, мама уйдет на покос, скажет: «Девки, вот так три раза окружите в печке, рука терпит, и ставьте хлеб». Я все так теперь и делаю, как мама велела.

Гера бочком обошел Анфису и, припав к матери, спросил:

— Мама, а почему тебя тетя зовет Нюркой? Тебя разве Нюркой зовут?

— Гера, — внушительно проговорил отец, — иди на свое место! Сколько раз я тебе повторял: в разговоры старших не вмешивайся. Маму твою зовут Анна Семеновна, а Нюрка — это другая тетя, она жила когда-то в деревне, а потом все на свете забыла, даже как хлеб сеют.

— Ну, конечно, — с мягкой иронией возразила Анна Семеновна.

Анфиса между тем ласковым, сожалеющим взглядом всматривалась в ее лицо.

— Уж и сединка в волосах. И зубок праздничный выпал, золотой вставила. А у меня еще крепкие, орехи разгрызаю. Иногда приду с работы — дома одни корки. Некогда пекчи, а то дрожжей нет, размочу корки в квасе и так нашлакаюся...

Она засмеялась. Зубы, в самом деле, были у нее еще крепкие, здоровые. А голубые выцветшие глазки смотрели совсем по-детски — доверчиво и весело. И хотя лицо все было испещрено бесчисленными морщинами, Виктору Михайловичу ясно представлялось, какой она была в детстве — быстрая, веселая тонкая девчушка.

— Я прежде шустрой была, — подтвердила Анфиса его догадки, — торопышкой меня звали. Первая плясунья во всей волости. А теперь уж не то. Сердце! Жизнь была трудная. В сиротстве росли. Потом своих ребят поднимали. Как вышла замуж, не видала рассвета, все ночь. Двух сынов на войне убили. Как травушку зеленую скосили... Это ли не горе! Мужик мой, как получил такое известие, стал таять, таять и вскорости помер. А тут меня скарлатина схватила. Все думали: конец. Выжить-то выжила, а слуха лишилась. По губам больше разбираю. Но что делать! Остались мы с Нюркой. Училась она тогда в девятом классе. Из всех девок первой шла. Директор говорит: «Учить ее надо выше, у нее большой ум». Ну, я стала поднимать. До человека довела.

— Трудно было? — спросил Виктор Михайлович.

— Все было. Она тоже маялась. Что поминать плохое!

К вечернему чаю Анфиса вытащила из баула стеклянную банку с медом и поставила на стол.

— Ешьте! Липовый!

Анфиса выпила две чашки чаю, к печенью и конфетам не притронулась. В ответ на уговоры сестры лишь махнула рукой:

— Пусть парень угощается. Худенький он у тебя. Я квасу вам заведу. С него толстеют.

Анна Семеновна показала сестре всю квартиру. После обхода комнат Анфиса постояла в кухне возле плиты, обложенной глянцевитым кафелем. В духовку заглянула с откровенным недоверием. Что же тут может испечься, если дрова совсем в другом месте горят? В первый момент не обратила внимания на то, что в квартире ни одной печи. Обнаружила отопление случайно, когда, привалившись к подоконнику, почувствовала, что откуда-то идет тепло. Потрогала батарею — горячая, и долго дивилась такому удобству.

— Так ты что же целый день делаешь? Я как погляжу, у тебя совсем нет хозяйства.

Анна Семеновна, смутившись, стала перечислять, как складывается у нее день.

— Пол обтираю влажной тряпкой...

— Ну, это что за работа! — заметила Анфиса. — Пол-то как зеркало, не надо шоркать вехоткой с песком.

— Обед иногда приготавливаю...

— Ну...

— С Геркой вожусь...

— А стираешь сама?

— Малые вещи сама, а большие отдаю.

Анфиса помолчала, прихмурилась. Потом непривычно суровым тоном заключила:

— Вовсе мало работы. Как это ты такую скукоту терпишь? Я бы часу единого не выдержала. И весь день одна? А на службу пошто не идешь? Мужик не отпускает?

— Да нет, отпускает, — неуверенно проговорила Анна Семеновна и тут же подумала, что за все эти годы не было у нее с мужем разговора на эту тему. Молчаливо признавалось обоими, что так должно быть: она — дома, он — на работе. Иногда только, в минуту особенно постылой праздности, думалось: «Ему все равно, чем я живу. Он доволен и не хочет перемен».

— У меня здоровье неважное, — сказала Анна Семеновна, не глядя на сестру. — Аппетита совсем нет. То не хочу, другое не хочу. Бессонница.

— А к докторам ходила? Они что говорят? Какая болезнь?

— Ничего не находят. Говорят, все в порядке. А я чувствую...

— Вот что, — сказала Анфиса негромко, с какой-то серьезной решительностью в лице, — никакого недуга у тебя не должно быть. Ты еще в цвете сил. Была бы мамонька жива, она бы тебя осудила. Она круто рбила и нам то же завещала. А ты, я гляжу, живешь потихоньку, сама себя не перегонишь.

Видя, что сестре неприятны ее слова, сказала, хлопнув по плечу:

— Головушку, смотри, не вешай. И не сердись на меня! Я тебе дело говорю. В таком царстве живешь и кручинишься...

Перед ужином Анфиса вытащила из мешка поросенка с двумя распорками между ног.

— Тебе привезла, на гостинцы, — и, радуясь изумлению и замешательству сестры, с гордостью сообщила: — Премия! За работу дали.

— Ну зачем, зачем? — повторяла Анна Семеновна. — Я же сама могу купить. Продают у нас...

— А это мной вскормленный. Он слаще, — возразила Анфиса. — У меня еще три осталось. Мне не съесть. Бери, бери!

Подошел Гера и долго осматривал поросенка. Потом шепотом спросил мать:

— Кто эта тетя? Она тебе даром привезла? Да?

Виктор Михайлович опять подсел к Анфисе, но не расспрашивал, а только, покуривая, слушал. Анфиса рассказывала о свиноферме, которую она называла «фирмой».

— В прошлом году я всех поросят сохранила до единого. Только во все глаза смотреть надо, когда матки поросятся. Недоглядишь — сожрут поросят-то.

Анфиса говорила и говорила, словно за этот первый день встречи хотела наверстать все долгие годы разлуки с сестрой. Анна Семеновна слушала с радостью и грустью. Весь суровый, трудовой быт, который когда-то был ей близок и дорог, но который с годами почти начисто стерся в памяти, вдруг от одного присутствия Анфисы живо представился ей, заиграл звуками, красками.

Вот в предрассветный сумрак врывается робкое чириканье птичек. Потом дремотную тишь деревни пререзает бодрая перекличка петухов, вызывающе вскинувших свои огненно-грозные гребни. И вот вдалеке, у реки, пастух уже начинает выводить на своей берестяной свирельке наивную, полную сказочного очарования мелодию. На зов свирели на росистые зеленые травы идут коровы разгонистым, деловым шагом. Спешат туда же овечки, кроткие, жмущиеся друг к другу, с круглыми курчавыми боками. А позади их, размахивая хворостинкой, бежит вприпрыжку она, Нюрка, маленькая босоногая девчонка.

Детство, полное трудных и горьких минут, вспоминалось сейчас как один солнечный день, с голубым, ослепительно чистым небом.

— Мы бы очень хорошо жили, если бы не война, — говорила Анфиса. — Один год по восьми килограммов пришлось на трудодень. Вот как! Не знали, куда ссыпать хлебушко. Война подрезала. И как быстро мы поправляемся! Нас разорили, а мы живо-живо опять

справились. Удивительно даже самим. Если бы нас не трогали, у нас бы давно коммунистическое хозяйство было. А то им наломают бока, они опять лезут... Так ведь? — Анфиса посмотрела на Виктора Михайловича. — Правильно деревенская старуха говорит или неправильно? Скажи-ка!

Анна Семеновна не слышала, что ответил муж: в эту минуту она была в его кабинете. Ей вдруг среди разговора захотелось сбросить с себя халат, в котором была с утра, и надеть то платье, которое муж когда-то особенно любил, но она уже не надевала его, считая для себя «слишком молодым».

Переодевшись, Анна Семеновна вернулась смущенная и похорошевшая. С важной осанкой, играя плечами, прошла мимо сестры и мужа и, с шутливым кокетством склонив голову набок, остановилась перед зеркалом. Какова? Ну-ка, оцените!

Муж, отодвинув «Конструктор», который перед тем собирал вместе с сыном, смотрел на нее, немного недоумевая над ее внезапной причудой и в то же время невольно любуясь неожиданно вернувшейся к ней молодостью и красотой.

— Вот такую люблю! — с чувством проговорила Анфиса, оглядев сестру со всех сторон. — И глазки заиграли, и ножка о ножку бьет. — Помолчав, повернулась к Виктору Михайловичу. — А тебе вот что скажу, уж не пообидься на меня. Не держи ты ее в затворе и на одной домашности! Человек сохнет, когда он один сам с собой. Ей было много дано, государство от нее ждет. Она человек с большим образованием. Я вовсе без грамоты и то пользу хогь махонькую, да приношу. А это что? Парень у вас уж большой.

Анна Семеновна села к столу. Ждала, не поднимая глаз, что скажет муж. Сведет ли на шутку весь разговор или, что тоже возможно, спросит ее, уклоняясь от прямого ответа: «А как ты сама думаешь?» Теперь же ей казалось, что только ради его спокойствия, из-за него она стала сторожем своей квартиры.

Виктор Михайлович держал на коленях сына, смотревшего на мать большими восхищенными глазами. Бросив на жену короткий взгляд, он спросил сына:

— Хочешь, Гера, чтобы мама всегда была такой, как сейчас? Хочешь. Я тоже хочу, и напрасно мама и тетя в нас с тобой сомневаются...



Александр Спешиллов

ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ

Весна была поздняя. Сердитые утренники задерживали таяние снега. Река прибывала медленно — по вершку в сутки. После первой подвижки льда прошла целая неделя, а лед в заторе был по-прежнему крепок и неподвижен. Даже появились свежие дорожки, как осенью, после ледостава.

Наконец-то в начале мая хлынули проливные дожди. В два дня был смыт снег с полей, вздулась Кама и шумно очистилась ото льда. Распустились почки на деревьях, появилась травка на лугах.

В озере проснулась щука и, как говорится, хвостом разбила хлипкий лед. На озере появились рыболовы.

На одном из первых пароходов я направился за добычей в Верхокамье, где и рыбы больше, и удильщиков меньше.

Доехав до места, ранним утром я пришел на озеро. Большое оно, как Шарташ, и рыбное. По берегам густой ольховник, у воды мокрые кочки.

Отыскивая удобный подход, я заметил, что на противоположном, более крутом и чистом берегу кто-то уже машет длинными удильщиками.

Не найдя другого удобного места, я подошел к своему собрату по охоте. Сразу даже не понял, старик ли это или старуха. Без шапки сидит, по самые плечи кудрявые волосы, а на лице ни усов, ни бороды. Одет в длинный домотканый армяк, из-под подола высываются новенькие лапти-самоделки с красными опушками, онучи с голубой каемкой. Рядом большая заплечная сумка из лыка — пестерь и берестяной туес.

— Клев на уду! — приветствовал я удильщика.

— Спасибо, друг.

— Клюет ли?

— Не клюет. Погода испорухалась. Да! Сиверко дует, — ответил мне рыболов. А у самого уже полный туес рыбы.

Мы быстро познакомились. Когда же я подарил ему старую газету на курево и несколько мелких фабричных крючков, — у старика были самодельные, — мы и совсем подружились. Звали рыболова Яков Степанович. Жил он в ближней деревне.

— Сколько тебе лет, Яков Степанович? — спросил я.

— Молодой еще. Первый десяток доходит.

— Как это первый десяток?

— На вторую сотню первый десяток.

— Как живешь? Колхоз кормит?

— Сам кормлюсь. Огороды в колхозе караулю да рыбку ловлю.

На его безбородом лице появилась улыбка. Я спросил:

— Почему у тебя бороды нет? Бреешься?

Яков Степанович пощупал свой голый подбородок и ответил:

— А мне ее ни к чему. Я когда молодой был, пареными орехами подбородок шоркал, волосы и вывелись. Да!

Успокоилась напуганная моим приходом рыба и стала изредка

поклевывать. Я тоже закинул поодаль от Якова Степановича свои лески.

Тишина. Только недалеко в ольховнике, нет-нет да и зазвенит коровье ботало. Мой новый приятель проворчал что-то себе под нос, поднялся на четвереньки, вытащил из пестеря большой нож — косярь, встал и, хромая на левую ногу, отправился в кусты. «Не корову ли резать?» — подумал я.

Вскоре послышалась возня. Что-то затрещало. На берег вышел Яков Степанович с ножом в одной руке и железным колоколом в другой.

— С коровы срезал, — объяснил он. — Чтобы удить не мешала. Доколоколила буренушка.

Это было первое мое знакомство с Яковым Степановичем. С той поры во время отпуска я каждое лето приезжал к нему в деревню. Мы удили рыбу, мокли под дождем, сохли под солнышком, жили в балаганах, спали у костров, переживали всяческие тревоги и приключения.

И чем только не приходится питаться удильщику на рыбалке! А ведь не верят. У рыбака всегда, дескать, полно рыбы и жареной, и пареной, и свежей, и соленой чуть ли не в сиговом засоле; уха ершовая, окуневая, стерляжья. Но на самом деле и у счастливого удильщика частенько рыбный садок бывает пустым. Недаром народ придумал поговорку: «Чудак рыбак. Рыбу ловит — сам не ест». Пойдут, например, дожди. Сами знаете, что в ненастье рыба не берет. Так вот и сидишь на берегу, ждешь хорошей погоды. Бывает, недели две сидишь, а домой ехать не хочется. Дудки разные, пиканы, дикий чеснок, кислица, ягоды — все тогда идет в пищу рыболову.

Бывает, что и сыт, но как пройти мимо терпкой черной ягоды черемухи? Крупная, как вишня, висит она кистями на ветках и сама напрашивается: «Съешь меня, съешь меня!»

Есть ее, черемуху, надо умеючи. Если раскусишь ядро, будет горько, как от осины; если ядро выбросить, останется одна пустая кожура. Ну и едят ягоду черемуху целиком, не выбрасывая и не раскусывая твердое ядро.

Яков Степанович говаривал, что желудок у рыбака все равно что

петушиный zob, он не только черемуху, даже стекло переварит. Но однажды и с Яковом случилась проруха.

Сидели мы с ним в Кривоножке — место такое есть на реке, где она кривляет, как кривая нога, — прятались от дождя под лодкой и ели черемуху. Три дня просидели зря и решили ехать домой. Что же, ехать так ехать.

Яков Степанович ушел в кустарники вырубить березку на бастриг, я остался у лодки, чтобы подготовиться к отъезду. Недолго было столкнуть лодку на воду, собрать рыбацкие пожитки, и немного надо времени на то, чтобы бастриг вырубить. Между тем прошло уже часа два, а старик не возвращался. Я стал кричать — не отвечает. Вышел на яр, снова крикнул, прислушался. Никакого ответа. Только дождик шуршит по траве да где-то канючит птица канюк. Пришлось идти на поиски.

Обыскал я первые перелески черемух и березняка — нет Якова Степановича. Пошел дальше по лугам. Кричал, охрип совсем, а старик как сквозь землю провалился. И всякое полезло в голову. Может быть, он в трясину попал, на гадюку наступил? Мало ли что может случиться в глухом месте.

Наконец-то, недалеко от берега, в лощинке я нашел старого рыбака. И, главное, в том месте, где я уже раза три проходил. Лежит бедняга на спине, руки наотмашь, под дождем. Рядом срубленная березка валяется и топор.

Подбежал я к старику, стал трясти, спрашивать:

— Что случилось? Живой ли ты?

Он жалобно отвечает:

— Ой! Чуть жив... Поезжай домой. Оставь меня одного. Умирать буду. Смерть пришла, Николай Александрович.

— Чего городишь...

— Прости, прощай, Николушко. Не видать мне больше свету белого... Черемухой я объелся, старый хрен. Да! Черемухой... Ой! Фершала скорее...

Сколько мне стоило труда и сноровки, чтобы перетащить «умирающего» в лодку. Положил я его прямо на слань, на дно лодки, оттолкнулся от берега и взял весла.

Дул встречный ветер, как из бездонной бочки полоскал колючий дождь. Старик стонал непрерывно.

— Ой, умираю! Ой, подходит... К самому сердцу подходит.

Греб я сильно, натер мозоли на руках, а сменить меня было некому.

Когда показалась деревня, еще жалобнее застонал старик, выматывая последние мои силы и нервы.

— Ужельную снасть себе возьми, Николушко, на помин души...

Я развернул лодку и подъехал к берегу вперед кормой, чтобы легче было «выгрузить» больного.

Вдруг со словами: «Ох, Никола, отошло!» — Яков Степанович поднялся на ноги, вскинул на плечо бастриг и свои длинные удилища, подхватил туес с рыбой.

В Монастырский яр мы приехали в дождик. А ведь только что было ясно, и вдруг все небо затянули мокрые тучи, и посыпал такой дождь сеногной, что не только рыбачить, но и в шалаше стало сидеть невозможно. Нудная сырость просачивалась сквозь зелень шалаша, вода капала на руки, попадала за воротники. Подмок табачок, отсырели сухари. Остался один выход — перевернуть на песке лодку и под ее надежным днищем переждать непогоду. Так мы и сделали. Вытащили лодку, перевернули ее вверх дном, сложили пожитки и сами забрались под нее.

Скрючившись в три погибели, провели бессонную ночь. Над рекой нависла гроза, и до утра гремело.

— Как бомбы в японскую, — занимался воспоминаниями Яков Степанович. — Летит она, эта самая бомба — пишит, да ка-а-к ахнет! У кого ноги нет, у кого руки нет, у кого головы нет, и все бегают, как сумасшедшие...

Только в полдень выглянуло солнце, но рыбу ловить было нельзя. Вода в реке пошла на прибыль, на три сажени от берега потянулась желтая муть.

Яков Степанович без просыпу спал, как будто бы хотел отоспаться за всю свою бессонную рыбацкую жизнь. Я от нечего делать бродил по лугам, собирал в берестяное лукошко душистую бруснику.

Случайно в одной лощинке набрел на лыву, оставшуюся от водополья. В лыве бойко играла рыба. От ее движений, как живая, трепетала в воде сизая осока.

Я разулся, закрутил штанины выше колен и с палкой в руке забрел к воде. Через полчаса вода почернела от взбаламученного ила.

На поверхность стали высовываться рыбы головы с выпученными глазами. И началась охота!

Я выхватывал щурят за жабры и выбрасывал на берег. Попала щука чуть не с метр длиною...

— Вот и рыбка! — радовался Яков Степанович, когда я с добычей вернулся к лодке. — А клева долго не будет, хотя и мутная вода пройдет. На прибывлой возле берега катится галька-окатыш, рыба ее боится и уходит в глубину... В лывах рыбачить — дело не мудреное, но чтобы в деревне не засмеяли, скажем, что щук наловили на живцов.

К вечеру небо совсем прояснилось, к ночи вызвездило. Мы развели большой костер, сварили уху, обсушились, обогрелись. Захотелось попить чайку, а спускаться под берег Камы по глинистому скользкому яру за водой ни мне, ни моему приятелю не хотелось. Да и лень было после сытной ухи отходить от уютного костра.

Яков Степанович решил схитрить. Начал он издалека:

— Когда мы были молодыми, я, Никола Закамский, Спира — он ведь все еще живой — мы на вечерки ходили в деревню Петрову, и всегда с музыкой. Никола играл на железном треугольнике, у меня была гармошка-семиголоска — на горе играшь, под горой слышно. Матерушние были, никакая нас лихоманка не брала... Закамский, когда ходил на пароходах, по двадцати пудов в трюм носил товару. Видишь, какие мы были... Кроме браги, мы одну камскую водичку уважали, потому и были, как быки. Колодезная вода с известкой. Известка-то всю ее выела. Озерная вода совсем вредная. Сколько в ней всякого гнуса, не приведи господь! С нее только брюхо пучит.

Яков Степанович нежно погладил ручку пустого пузатого чайника, поворошил палкой в костре и продолжил:

— А камская водичка полезительная, известки в ней нету, гнус в ней не живет. Она самая живая — всю жизнь в море течет. Про нас, примерно, можно сказать то же самое. Нас и мочит, и сушит, мы по три дня хлеба не едим, по неделям старух не видим, а здоровы... Камская водичка полезительная...

Долго говорил хитрый старик о камской водичке, пока не уснул, сидя у костра, но и во сне бормотал он: «Камская водичка полезительная»...

Но чаек-то все равно надо было кипятить. Хочешь не хочешь, а придется сходить за этой самой водичкой. После ухи во рту сухо.

Отойдя с чайником несколько шагов от костра, я вспомнил лыву, в которой днем щурят ловил. Она была совсем близко, и не надо было под берег спускаться. Я подошел к этой лыве.

Вода почти совсем отстоялась, сверху была чистой и прозрачной. Осторожно, чтобы ее не замутить, я нацедил через рожок полный чайник водички и возвратился к костру.

Скоро поспел чай. Вода из лужи, приправленная листьями красной смородины, имеет особый аромат, знакомый только рыболовам.

Разбудил Якова Степановича. Он налил кружку. Пьет да похваливает:

— Вот это чаек! Сразу видно, что не озерная водичка, а камская полезительная.

Я не сказал старику, что вода эта не камская, а много лучше речной, вода из лывы, насквозь прогретой солнцем и впитавшей в себя соки луговых трав и цветов.

Ранняя весна. В деревне на угоре собралась молодежь. Пели песни, плясали. Поодаль, на бревнах, сидели старики. Жена Якова Степановича, восьмидесятилетняя старушка, жаловалась соседям.

— Он весь мой век загубил. Бурлачил раньше. Я одна по затонам жила. А состарился, совсем с ума сошел — рыбкой заразился. Для хороших людей — когда работа, когда праздник — все видишь. Его ж все время черти по озерам носят.

— Зато он тебя, Аграфена Ивановна, свежей рыбкой кормит.

— Если бы кормил — туды-сюды. Редко-редко дохлую сорожку принесет. Все больше пустой домой приходит. Сегодня ушел опять. Ну скажи, есть ли ум у старика? На озерах еще лед — какая рыба?

Яков Степанович в это время подходил к деревне. От усталости он еле ноги передвигал. У деревни сел отдохнуть на кучу битого кирпича. И задумался. Если идти домой по загородам — грязина, в бахилы начерпаешь. Если по деревне, спросят об улове. А какой же рыбак правду скажет, сколько он рыбы наловил?

Яков Степанович встал, наконец, и, размахивая удилищами, решительно зашагал по улице деревни, прямо на угор.

Кругом его обступили соседи, об улове спрашивают.

— Хорош, ребята, был улов, — отвечал Яков Степанович. — Дал бог рыбки, не пожалуешься. Поднимите попробуйте пестерь.

Многие брались за пестерь Якова Степановича. Поднимет иной — тяжельнюко. Даже Аграфена Ивановна поверила, что сегодня старик действительно с рыбой. Она быстренько засемила домой печку топить, рыбный пирог стряпать.

Важно, вперевалку, отправился за ней и Яков Степанович — счастливый рыболов.

Аграфена Ивановна встретила его с пустым ведром.

— Давай скорей, Яшенька, рыбку-то. Чистить скорей надо, чтобы не испортилась.

Яков Степанович сел на завалинку, снял с плеча пестерь, долго рылся в нем. Вытащил тяжелый мокрый кирпич и протянул старухе.

— Накось, унеси в баню на каменку.

— А рыбка-то где?

— В воде! — злобно ответил Яков Степанович. — Кирпич-от я за деревней в пестерь сунул. А все думают, что у меня рыба. Да!

После смерти жены Яков Степанович перешел на жительство к зятю Афанасию. Сторожил избушку, пас гусей, кое-что делал по дому и, конечно, рыбачил.

Подошла пора сенокоса. Зятю за работу в лесхозе дали небольшой покосик. Афанасий траву выкосил, а убрать времени не было.

— Взял бы ты, отец, грабли да вилы, сгреб бы сено на делянке, — попросил он тестя.

— Давно бы мне в ножки поклонился, не гнила бы зря травушка, — ответил Яков Степанович и стал собираться на покос. Набил кiset самосадам, сложил в пестерь сухари, соль, деревянную ложку.

— На неделю, что ли, собираешься? — сказал Афанасий. — Работы на покосе всего на час.

— Идешь из дому на день, бери харчей на неделю, — ответил Яков Степанович.

К вилам и граблям старик прикрутил веревкой два длинных удилища.

— А это для чего? В лесу ни озера, ни речки.

— На всякий случай, — ответил старик.

И Яков Степанович отправился страдовать. Траву, мокрую от росы, грести было еще нельзя. Яков Степанович вынул из пестеря холщовый мешочек и стал искать под мохом червей.

Когда поднялось солнце и траву обдуло ветерком, старик принялся за работу. Не торопясь, он сгреб сено в валик и сел отдохнуть. В это время из леса вышел кривой Спиридон.

— Помогай бог трудиться!

— Не тружусь, а пока покуриваю, — ответил Яков Степанович. — Садись за компанию.

— Шибко некогда, — ответил Спиридон. — Ребята сказывали, что в Монастырском яру лещи клюют. Я и подался в березнячок удилища вырубить. Лещу, говорят, ход. Весь берег рыбаками усеян. Даже с Висима рыбаки понаехали. Не надо зевать, Яша.

— Врешь, Спиря, — недоверчиво ответил Яков Степанович. — Теперь щуке жор, а лещу рановато.

— Ничего не рано. Говорят тебе, так ты слушай... Будь здоров, а мне некогда. — И Спиридон скрылся за деревьями.

Яков Степанович бросил недокуренную папироску. Встал, взял вилы, поднял пласт сена, потом опустил его на прежнее место, отбросил вилы в сторону. Надел на плечи пестерь, схватил удилища — и зашагал прочь от своего покоса. Если рыба клюет — хоть трава не расти.

До Монастырского яра верст десять. Пока рыболов шел до заветного места, появились облака, заморосил мелкий дождик.

Вот и знакомый яр, но нигде ни единого удильщика, и Спиридона не видно.

— Одному больше рыбы достанется, — проговорил Яков Степанович, сел на бережок и закинул удочки.

Сидел, сидел, задремал, а клева нет. На воде от дождя пузыри плавают — признак затяжного ненастья.

«Обманул Спирька, — догадался Яков Степанович. — Попадешь ты мне, сукин сын».

Посидев еще немножко для порядка, старик собрал удочки, выбросил червей в воду и отправился домой.

В деревню пришел вечером, мокрый до нитки. В избе никого не было, ворота на замке. Пришлось забираться в дровяник.

По крыше шумел дождик. Яков Степанович присел на дрова, прислонился к старому листовичному столбу, задумался. Вот эти четыре столба все, что осталось от его избушки, в которой он целый век прожил. Когда перешел на жительство к зятю, старую избушку сломали. Афанасий смог выбрать для своего хозяйства только стол-

бы от ворот, а остальное даже на дрова не годилось — сплошная гниль и труха.

Яков Степанович шершавой рукой ласково погладил столб. Глаза старика заслезились. Ему почудился запах родного дома. Кажется, вот-вот войдет в дровяник Аграфена Ивановна и спросит: «Где же у тебя рыбка? Опять, старик, пустой пришел».

— Кто-то тронул его за плечо. Яков Степанович поднял голову. Над ним стоял зять Афанасий.

— Сметал сено, отец? — спросил Афанасий.

— Не клюет. Обманул Спира.

— Я не о том спрашиваю. Успел до дождика сено сметать?

— Не... не успел.

— Что же ты делал? Где был? — неотступно спрашивал зять.

— Рыбачил в Монастырском яру. Не клюет. Да! Погода видишь какая... дожди.



Лев Давыдычев

СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, — наливая в рюмку глоток коньяку, а в чашку холодного кофе. — Все в жизни надо по возможности делать наоборот, — грустно сострил он, по рассеянности выпив кофе и запив его коньяком. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной белой бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему было обидно, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно. — И раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затяжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, где он жил. А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнялся звуками, которые воображение старика легко соединяло в любые мелодии — от нежных до тревожных. Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, побряхтывал самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо роптали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни в непрерывном напряжении, будто скрюченные ревматизмом великаны пальцы, держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка — хилое деревянное сооружение. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы вперемежку с подпрыгивающими, разорванными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку — она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песнь...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал.

Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный враг тот, кого когда-то, считая другом, близко подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то бессонница и была старику, — тогда он еще не был стариком, — была другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

И, конечно же, он и не заметил, как из друга она стала врагом.

Старик не сдавался ей, но и победить не мог. Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро кричал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И правда: днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечером старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять, казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать — не особенно приятное занятие, когда она не признак молодых неистраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся — и города, и его ученики, а потом — города учеников, потом — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, ум немного уступает сердцу, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными, и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор... И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями...

«Я совсем, совсем старею, — думал старик, — жалко».

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее как нечто, обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее понимать лишь как вынужденную необходимость коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристра-

стную оценку пройденных дорог, и, учтя победы и поражения, он еще сделает бросок вперед. Обязательно сделает.

И кто знает, может быть, вся жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

«Ты хитрюга, — говорил он сам себе. — Ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические исследования на тему о старости».

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяку, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик крикнул:

— Ты! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не попадаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она, — потому что знаешь: я побегу за тобой. Как всегда — я...

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый. — Она с сожалением вздохнула и отвернулась. — Ни разу в жизни я не произносила слова «любить» в прошедшем времени.

— Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне.

Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты неправ, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Раньше у меня были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Раньше у меня были сильные ноги, чтобы спешить к тебе...

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит, — жалобно попросил старик, — шмыгнув носом. — Не смей меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь, так не бывает! — И старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... — Он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил:

— Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?»

Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в песок пароходные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки.

И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого скрыты и ждут времени, ждут, чтобы прорваться.

Но вчера она оказалась — впервые — бессильной.

После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике. У него было такое состояние — то ли он что-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал песнь бора. Монотонная, похожая на морской прибой, она напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно, и старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу, и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся или задумавшихся птиц, — пришло в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремления вверх, в беспредельность и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — Причем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он, — на птиц! Усталых, не способных к полету, но ведь — летали когда-то. Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столь нелепо загромождена вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то была далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик приехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставили вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет все, что узнал за свою жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное — так, сопутствовало...

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья навещали куда чаще, чем раньше на городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, веселые; доставали бутылки с вином и скляночки с валидолом, рассаживались кто где и начинали разговоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видно, модели, вырвавшись из круга привычных, но старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказывается, у каждого

была в жизни большая любовь, да такая, что — давайте-ка выпьем! Выпьем...

Эх, были когда-то и мы этими самыми... как их?

У каждого и — большая... Ах, какие это были любви! Беззаветные, самоотверженные, добрые, готовые на любую жертву... И если не выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь потому, что есть еще порох в пороховницах!

Эх, какие они были, эти любви...

Старики пели с молодой удалью и отчаянием, разбросав галстуки и пиджаки по всей комнате, стиснув друг друга за плечи... хрустели под ногами запонки... И появись здесь нынешние девушки, они бы погоревали, что родились поздно, что настоящие-то парни — вот они...

Да-а, были когда-то и мы!

Тут старик и придумал историю о своей самой большой любви и о недавней встрече с ней. Сочинял он с такой верой, убежденностью и потребностью, с какой зовут на помощь в трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы рассказ его выглядел наподобие тех, которые он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему...

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка выпала на землю. Он, кряхтя, нагнулся за ней, вытер полый пиджака мундштук и закусил его. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты могла не выскакивать замуж сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя все это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто, более неприятное: ему поверили. И тогда ему стало

стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да и он не мог, — и продолжал.

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда — годы, а иногда, особенно у женщины, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их любят сильно. Боятся. Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная.

— Здорово ты научилась философствовать, — как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я прощала тебе. Помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она была во много раз сильнее твоей. Тебе было стыдно, что ты не можешь полюбить, как я.

— Неправда, — попросил старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывал, что ты — конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — Она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. Вдруг. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось хоть одно доказательство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение... — Она закусила губу. — Ты был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом, что ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлю-

бил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не решала тебе никого полюбить так, как я любила тебя...

— Ладно, — одними губами выговорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?.. желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе: бывают же счастливые люди — которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало только один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старый, — вопиющий дурак.

Никто ему не возразил.

Каждый взял стакан и выпил за здоровье своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного, да виноват.

И в тот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали песнь бора, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно что-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, долго сидел на балкончике, потом ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь в свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты.

Старик сидел, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но — когда?

Позвольте, позвольте... Жену он любил, конечно, это он точно помнит. Жили как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он ее плохо любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью.

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникла пустота. И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

...Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел и курил. Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.

А старик лег на подоконник, чтобы быть поближе к песне сосен.

...Нет у него в адрес своей судьбы особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже.

Не в этом дело.

Просто надо выдержать свою судьбу и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы — понедолгу, пробуя голос. Ночная песнь бора сменилась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало радостно. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

Старый дом отдохнул, начал повизгивать, поскрипывать, побряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и — раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил старик. И выпил еще глоток.

Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более, без укоров совести.

И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда только как далекое-далекое эхо неизвестного голоса.

Забытая, она владела им.

Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем.

Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любит ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь.

Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.

И все-таки она — была.

...Старик прошелся по комнате, и остатки запонок заскрипели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять, куда?

А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться.



Николай Вагнер

ПИСЬМО

(Записки учителя)

... **С**егодня я получил письмо: в таком глупейшем положении я никогда еще не был.

«Алексей Федорович! Я должна Вам написать...»

Я не знаю, почему вкралась эта досадная «а» в ее письмо: она ведь первая ученица школы!

1

Мои коллеги считают меня человеком «самым беспечным». На учительском банкете по поводу очередного выпуска наш завуч сложил про меня даже куплет. Ефим Сергеич прочел его, приподымая рюмку, своим козлиным, вовсе непрезентабельным баритоном — кое-кто посмеялся.

Кто по классам ходит здесь,
Весь в мечтах, в улыбках весь?
То историк — как-никак!
К тому же... вечный холостяк!

Но, помилуйте, почему же это я «самый беспечный»? «Вечный холостяк», конечно, ближе к истине. Я — старик. Мне тридцать семь лет. За эту частицу века испытано не так уж мало. С тринадцати — сирота. До шестнадцати — завидное житие у дальней родни; семь месяцев (в том числе и по общему подсчету!) — по больницам. Но прыти моей от этого не ubyло: первые разряды по легкой атлетике, среди первых окончил школу.

На фронт запоздал. «Повоевал» (если так разрешено выразиться) в весьма юном возрасте и маловато, всего три недели в самом конце войны. А исковеркало подходяще. Хорошо еще, нога не окостенела, как сулили эскулапы, и я не хромаю, а также и легкие выровнялись. Только рубчики на теле, как татуировка у доброго индейца! Но под одеждой не видно.

Затем — годы лечения, госпитали, больницы; блаженное, хотя и не слишком сытое время. Диплом с отличием. (Этим горжусь и сейчас: профессора, за что благодарен им поныне, в знаниях «воды» не терпели.) И вот — десять лет педагогической деятельности.

Собственно говоря, никакой особой «беспечности» за собой не числю. Не женат. Говорят, по-юному подвижен и выгляжу моложе своих лет (что свойственно, увы, куда больше мужчинам, чем нашим женщинам!). В школе на хорошем счету. А подтрунить — потешиться над кем-нибудь — милым коллегам свойственно: у нас находят, что ирония полезна и оздоравливает общественную атмосферу.

Но что делать с этим письмом: «Алексей Федорович! Я должна Вам написать...» С этой досадной «а»?

Впрочем, «а» еще не самое страшное здесь. Равно как и подпись: «Эль». Никто не зовет ее в школе «Лена», так уж повелось: явно или тайно для всех она — Эль. Гордость школы, на редкость способная к наукам; простая, обаятельная девочка!

А вот — дальше?! Что ответить на это?

...Я не могу не сказать Вам, потому что это стало бы ложью, и я не могу больше лгать. Глазами (когда смотрю на Вас), голосом (когда говорю с Вами), движением рук (когда стою подле Вас и пишу на доске все, что потом не вспомню). Я люблю Вас, и я не знаю, как это случилось.

«Но это же бред, самообман! — твержу я себе. — Эль едва ли семнадцать. Такая спокойная, умная, не может быть. Бред!»

И невольно волнуюсь, потому что достаточно хорошо знаю Эль.

...Я не хожу за Вами по пятам, я не слежу и ничего не разузнаю о Вас, о Вашей жизни. Я не подхожу к дому, где Вы живете, не стою на противоположной стороне и не смотрю на окна, где скрыто все лучшее, что влечет меня к жизни, что заложено во мне, без чего не могу дышать, учиться, радоваться солнцу. Я не преследую Вас записками, как это делают другие, и даже очень хорошие девочки. Я не могу так. Но я должна Вам сказать, что я люблю, люблю Вас, что жизнь моя без Вас ничтожна, цены не имеет. И что все сделаю, все, что только ни захотите Вы. Но, может быть, Вам это не нужно, не нужно. Эль».

Конечно, не нужно! Но не могу же я так, двумя словами, ответить на ее письмо. Я знаю Эль достаточно хорошо (она болезненно самолюбива, чутка). Пожалуй, не меньше, чем каждого ученика моего класса, где я преподаю уже не первый год и классным руководителем которого являюсь, пожалуй, не хуже любого знаю я Эль.

Класс мой — крепкий, не постесняюсь — одаренный класс. Само собой установились у нас взаимное доверие и дружба, без которых не существует и не может существовать положительное понятие: учитель и ученик. И мне казалось, всегда, что я не только понимал и «видел вглубь» каждого, но и знал, что он сейчас скажет и как поступит. И вот это письмо!

Не допустил ли я какой-нибудь ошибки в отношениях моих к Эль? Неверного жеста, слова, взгляда? Нет, я не припомню такого. Да и с ее стороны никогда не улавливал я особого к себе внимания. Многие, и девочки, и мальчики, в заметной старательности своей не уступят Эль.

А если это письмо — шутка? Нет, слишком опасной могла бы стать такая шутка для ученика. Да и не способна Эль на такую шутку.

...Я долго думал, как лучше поступить мне. Я думал о том, как должен был бы поступить на моем месте настоящий учитель. И все еще не нашел единственно верного решения.

Я люблю свой предмет: историю. В наше время (как ни высоко оно) не все, далеко не все в должной мере оценивают ее опыт. История в развитии мышления, в воспитании человека, в приобщении его к мировой культуре, бесспорно, одна из ведущих, основных наук.

Да, я очень люблю историю.

Но, пожалуй, не меньше ценима мной профессия учителя. Того, кто несет свет знаний. (Удивительно избитые и верные слова!) Кто пробуждает в сердцах тепло чувств.

Я достаточно уравновешенный, спокойный человек, но общение с этими «маленькими человечками» все переворачивает во мне, будоражит. Неожиданные проявления их мысли, всегда окрашенные отсветом действительности, которая их обступает. Неугасимая потребность познавать, разобраться до конца во всем, что их тревожит. Их жестокость и потрясающий наплыв чувств там, где их не ждешь. Их лица, глаза! В этом мире, как нигде, быть может, ощутима потребность твоего труда, знаний, помощи; и, как нигде, нагляден результат упорной твоей, завидно-счастливой деятельности.

Но как поступить с этим письмом?

...Можно, конечно, сделать вид, что никакого письма и не было. Пожалуй, это наиболее простой и безобидный выход из положения.

Сегодня мой школьный час прошел вяло. Я был не в настроении и не мог принудить себя вести урок как всегда живо. Ребята слушали плохо. Эль неотрывно следила за мной. Очевидно, взвешивала, дошло ли уже ее письмо до меня?

Я, делая вид, что никаких особых событий не произошло, не избегал ее взглядов. Но обычная непосредственность, никогда не мешавшая дисциплине, как бы ускользала от меня: я не мог видеть молящих глаз Эль и не чувствовал класса.

Только к концу урока я как-то нашел себя. Девочка явно переживала всю эту нелепую затею с письмом. Это внезапно рассердило меня: «история с письмом», которая, как показалось мне вдруг, не

стоила и выеденного яйца, мешала истории! Я прикрикнул на Эль, придравшись к какому-то пустяку. Ребята встрепенулись; и вскоре, по тому, как заискрились глаза, я понял, что их опечалил звонок, оповестивший о конце урока.

Вернувшись домой, я сел за свою работу — она все больше увлекает меня, — но что-то мешало мне. Я бранился и говорил себе: «Вздор! Следует забыть!» И, стыдно признаться, видел глаза Эль. И понимал: обойти молчанием письмо не удастся.

— Вот чертова девчонка! — восклицал я, откладывая работу. — Видите ли, переживает! Да и девчонка-то хорошая, просто золотая девчонка. А я только накричал — тоже хорош.

Вечером я пошел в кино. Фильм мне не понравился, вернее, я думал о другом и ничего не увидел, не понял.

«Нет, так не пойдет! — решал я. — Что-то необходимо предпринять».

Можно было ответить письмом. Но здесь таились многие неудобства: и то, как будут поняты твои слова, и — письмо всегда холоднее, бледнее слова. И потом — письмо учителя ученице?.. Нет, письмо отпадает.

Провести «безобидный» разговор в классе, на одном из классических примеров истории, на аналогии? Без каких-либо намеков, разумеется, но на параллелях! Интересно! «Исторические параллели»? А в сущности — чепуха. И Эль поймет сразу, и это только оскорбит чистую душу.

Что же еще? Не назначать же свидания и заводить разговор по душам?! Этого еще не доставало!

И вдруг я понял: так именно и нужно поступить.

4

...Я оглядываю своих учеников — выросли, повзрослели. Рискую сказать: «обогатились» знаниями за эти недаром потраченные школьные годы.

Отвечают сегодня хорошо и слушают горячо. И это, бесспорно, оттого, что мне легко сегодня, речь моя легка, точна, плавна; и увлекает их, и заставляет видеть, воображать, рисовать картины минувших событий. И даже глаза Эль не трогают меня сегодня: решение принято — завтра все «трудности» будут разрешены...

Остается лишь сообщить ей о моем решении. На перемене, когда все ринутся из класса, я задержу Эль, я уже придумал, как лучше сказать об этом.

Но Миша Плетнев портит все дело.

— Скажите, это верно, что Спартак умирает на кресте?

Ну, это вновь об американском фильме!

— Нет, это неправда. Спартак, согласно историческим данным, погиб в бою, и тело его не было найдено, — тороплюсь я ответить, боясь, что Эль выйдет из класса, а оттягивать разговор еще на неделю нет смысла.

— Но так красивее! — восклицает Миша и усмехается. — Я говорю: на кресте!

— Уж, право, не знаю, — отвечаю я.

Эль действительно направляется к двери, но у крайней парты задерживается и смотрит на меня, словно прислушивается.

— А я считаю это неправильным! — вновь говорит Миша.

— Что — неправильным?

— Так подавать, как в фильме.

— Почему? — спрашиваю я. — Потому что это искажение исторической правды? Или...

— Нет, не потому! — перебивает меня Плетнев. — Это красивость. Так умереть всякий дурак согласится! Да еще на глазах любимой женщины: «Смотри, как я за правду страдаю, какой герой!»

— Постой, но это ведь смерть, — говорю я. — Умереть не так-то просто. Я видел, как умирают. А в муках еще тяжелее. И потом, это художественное произведение. Хотя я и разделяю твою точку зрения: не следует вводить некую неправду в историю. Даже в художественном произведении. И даже в деталях. Так? Закончили?

Но теперь и Ваня Бурых вступает в разговор. Он поддерживает Мишу Плетнева:

— Умирать труднее, я думаю, в самом обычном положении, как бывает на войне. В одиночку, когда друзья ушли вперед громить вражеские окопы, а ты умираешь, и никого рядом, и некому помочь! И ни на каком ты там не на кресте! И не как Христос какой-нибудь!

Эх, Ваня, Ваня! Вот и другие включаются в обсуждение этой «смерти на кресте»! Сейчас прозвенит звонок, все усядутся вновь за парты, и я ничего не успею передать Эль. Смешно, на лбу выступает пот, как у влюбленного юнца перед свиданием!

Но Миша неожиданно прекращает спор, он вспоминает о предстоящих воскресных соревнованиях и вместе с товарищами бежит из класса.

Я забираю портфель и, проходя мимо Эль, говорю:

— Пройдем со мной, мне нужно тебе что-то сказать.

Никто не обращает внимания на мои слова. Эль идет рядом со мной по коридору к учительской.

Возле седьмого «Б» стоит Ефим Сергеич и помахивает мне издали рукой. Я приостанавливаюсь, смотрю на Эль. И она тоже смотрит на меня. И в глазах ее столько надежды и горя, что я теряю разом все умно продуманные слова и, как какой-нибудь пятиклассник, быстро шепчу ей:

— Завтра, в Парке культуры, у второго фонтана, в шесть часов, понимаешь?

— О, да, да! — также шепчет она.

Мне кажется, она расплчется сейчас или упадет на пол посреди коридора. Ефим Сергеич кричит мне: «Поторопитесь, голубчик!» И я, наталкиваясь на школьников и сгорая от ложного, подлого стыда, почти бегу к моему любезному коллеге.

— Ну, что, молодой холостяк? Что вы все мучаете там своих подопечных?! Знаю, вы ведь любитель мандаринчиков. Жена звонила мне только что — на Крупской продают мандарины! И никакой очереди!

5

...По дороге «к месту свидания» я едва не столкнулся лицом к лицу с Ефимом Сергеичем. Я тут же трусливо «драпанул» — как любят говорить мои ученики — в гастроном, где только вчера еще покупал мандарины, и мне уже думалось, что встречу «пронесло». Но Ефим Сергеич не преминул войти в ту же дверь следом за мной.

— Приветик! — закричал он с порога в дружеском порыве, распознавая меня в толпе. — Какой модник сегодня! На свиданьице, разумеется? Галстучишко у вас — просто жених!

Следовало бы, конечно, поостеречься: Ефим Сергеич, хоть и завуч, всем известный болтун, все разнесет по школе. Но я был взбешен его репликой и закричал так же, как он, с теми же интонациями:

— На свиданьице! Тороплюсь! Приветик!

И пулей вылетел из магазина.

Я бежал по улице, по аллеям парка и чертыхался: «На свиданьице!.. У фонтанчика!» Смеялся над собой и видел себя со стороны: симпатичный брюнет затеял-таки заварушку! Ну и картинка — прямо на фотоконкурс! И куда же бежит, на хронометре всего полшестого. Нет, воистину потерял всякий такт! И еще этот глазастый, банальный галстучишко! Не следует ли подтянуться, товарищ историк? А то ведь и Эль, пожалуй, заметит: «Торопился на свидание!»

И тут я увидел Эль. У второго фонтана. Народу было здесь мало. Она стояла чуть опустив голову и, видимо, не замечала, как я подхожу к ней. И была во всей ее фигурке такая доверчивая покорность, что, сказать по правде, я вздрогнул и умерил шаг.

6

— Здравствуй, Эль, — сказал я, подходя. — Ведь так зовут тебя все, правда?

— Да! — откликнулась она, протягивая мне навстречу руку. — Это так! Все называют меня так.

И улыбнулась. И в улыбке ее сквозила та же доверчивая покорность.

Я взял ее руку в свою. У Эль была тонкая кисть, чуть пухлая, и пальцы тонкие, конусом: почти детская и вместе с тем уже — рука женщины.

— Пойдем, здесь хорошая аллея, и людей мало, и оттого как-то ближе к природе, — сказал я, указывая в сторону. — Ты природу, конечно, любишь тоже?

Она не ответила, только кивнула.

Мы прошли несколько шагов молча, и я сказал вновь о природе.

— И я тоже. — Но нужно было говорить о другом. — Не подумай, Эль, что я назначил тебе свидание, это звучало бы пошло.

— О, что вы! — прошептала она, глядя мне в глаза. — Я так верю вам, вы же знаете...

— Конечно, конечно, — заторопился я, не находя, как продолжить разговор. Рассказывать о Риме, или монголах, вторгшихся в русские степи, или о средневековье, оказывается, было несравнимо

легче! — Иначе и невозможно, Эль! Нам надо ведь поговорить о многом, и давай говорить как взрослые, хотя я привык считать вас детьми, всех вас, да вы и на самом деле еще дети.

— Алексей Федорович, мне скоро будет... — Эль запнулась. — Мне будет...

И я поспешил вновь заверить ее, что и это я знаю, все о них знаю. Но Эль не согласилась со мной:

— Нет, вы не знаете. Вы многого еще не знаете, хотя кое-что и знаете теперь, конечно. Мы никогда не говорили с вами. Вот так, за стеной школы.

И опять эта доверчивость и покорность. Я не знал, что сказать Эль еще, и почувствовал, как почва уходит из-под ног. Никогда раньше не было со мной такого, ни во встречах с женщинами, ни на фронте. Я поглядел на ее лицо и ужаснулся, как смертельно побледнело оно. Казалось, ветер, что шел нам навстречу, смыл с него краски. Я было протянул руку, я хотел уж спросить: «Эль, тебе плохо?» Но она движением головы, словно угадывая мысли, отвела мою руку и вопрос.

— Да, Эль, давай как взрослые!.. — Становилось неловко, тянуть — невозможно: сказать нужно было правду. — Я никак не хочу обидеть тебя. Я хорошо отношусь к тебе. Ты это и сама, наверное, знаешь? Как и ко всем моим ученикам...

Мне слышалось, как со стороны, что я говорю громко, слишком громко и бодро, почти кичливо, я постарался сдержать голос, говорить медленнее; увидел, как ловит каждое мое слово Эль.

— Да, как ко всем моим ученикам. Но то, что ты пишешь...

Ни вдоха. Лицо невозмутимо. Мне стало вдруг жаль ее, невыносимо жаль. Я взял Эль под руку, слегка привлекая к себе.

Мы сделали еще несколько шагов по аллее.

— Я не могу говорить неправду. Нет хуже неправды, Эль. И ты не простила бы этого. Я очень люблю тебя. Ценю. Быть может, больше, чем других в классе. Ты умная, способная, чуткая, по-своему мыслишь, и без штампов, без этого горького груза нашего времени. Не по стандарту. Этим пропитано и все твоё письмо.

— Не говорите о нем, — умоляюще прошептала она. — Теперь я уже все знаю, понимаю, простите меня.

— Что ты — «простите»?! — сказал я. — За что прощать? Ты очень хорошая, Эль. Но давай поговорим как взрослые.

И подумал: «Опять — давай! Опять — как взрослые! Не то, нет, совсем не то говорю я!»

— Эль, я тоже испытал кое-что в жизни. Думаю, кое-что могу понять. Поверь, твои слова царапают мне душу.

Я еще раз посмотрел на нее. То же мертвенно белое лицо. И опять — ни вдоха, ни слова.

— Ты все же должна понять меня, Эль, — сказал я, — иначе не получится разговора. Послушай меня: все, что ты пишешь, невыносимо. Это воображение, одно воображение, вдохновение, если хочешь, какое бывает, наверное, у поэтов. Я, конечно, тебе благодарен, очень благодарен. За все слова, за тепло, за доверие. Но это невозможно, Эль, невозможно. Ведь я уже старик, Эль. Я говорю с тобой честно — старик.

— Но разве это что-нибудь значит! — сказала она.

— Что ты, Эль! — воскликнул я и почувствовал, как невольно сжимаю ее руку. — Я люблю тебя, ты мне все равно что дочь, и я люблю тебя, как, вероятно, любят дочь. И я ценю твой порыв и жалею, что сам не молод. И что все это невозможно. Но ты и сама скоро убедишься...

Мы стояли теперь в самом конце аллеи. Города отсюда не было видно, впереди был лес, не тронутый рукой человека. Я увидел, как Эль подняла глаза: какие у нее были глаза, как хороша была сейчас эта твердая в своей печали девушка!

Потом глаза дрогнули, губы приоткрылись, и я скорее прочел по ним, чем услышал: «Но я не могу без вас, Алексей Федорович!»

Конечно, наивно было говорить так! И чем было ответить? Прописные истины не помогли бы здесь: то была Эль! Немало диспутов прошло в школе; что говорить, за эти годы трудненько приходилось порой. История — наука о жизни, о фактах. Факты убеждают. Они обостряют ум. Рождается «свое мнение». Этим «малышам на возраст» всегда подавай голую правду. Они горячи! Непримиимы с неправдой, пусть даже частичной неправдой или полуправдой. Такова молодость! И запевалой класса на этих диспутах, строгой и принципиальной, обычно становилась Эль.

7

...Мы вернулись к фонтану. Я все не мог отпустить Эль. «Я педагог, я мужчина, я старше, я не могу оставить ее одну, — думал я. —

С такими глазами, с таким лицом! Я должен сказать, что-то найти, поддержать. Ибо все, что уже сказал я, — не то. Не то, что ей нужно».

Мне стало по-настоящему тяжело. Я ощутил вдруг, что теряю бесценно-дорогое: то ли молодость души (которую, как ни смешно, все еще ощущал я в себе все эти годы); то ли дорогу, которую не усмотрел; то ли доверие единственного человека, который нигде, никогда не предаст, не забудет.

Я не знаю, откуда явилось во мне это чувство. И, как ни странно, мне показалось, что Эль понимает меня и словно находит в том подобие утешения.

Ее глаза смягчились, щеки не то чтобы порозовели — чуть затеплились, шаги стали легче.

Мы вновь и долго шли по аллеям. Эль молчала, и я не говорил больше.

Но другой, безмолвный разговор (я в этом уверен) длился и длился между нами на каждом шагу. Я говорил: «Забудем письмо, слова, сегодняшний день, встречу. Прислушаемся к себе. Поймем. Не осудим. Видимо, жизнь имеет свои права, свои горести и утешения. И не всегда нам подвластны они». А Эль возражала: «Я не могу без вас, не могу». И я говорил вновь: о том, что сложно, что непросто в жизни; и о том, как прекрасна дружба; и о том, что каждой реке суждено впадать в свое море. А Эль — о своем: как высоко чувство, если оно любовь. Она улыбалась, шутила и плакала, и смеялась своему.

«О, какой ты еще ребенок!» — не вслух восклицал я.

Я повернул ее к себе и сказал, как всегда:

— Перестань! Вот мы и поговорили с тобой. Все! А теперь перестань огорчаться, в жизни бывает хуже, подними глаза, посмотри на меня, знаешь, что я скажу тебе сейчас, нет, не о «рае» и не о «небе», пойдем, посидим в кафе, посмотрим на людей, послушаем, как поют скрипки или трубы и даже какой-нибудь турецкий барабан, пусть все это останется только нашим, нашей, если хочешь, тайной, если хочешь, памятью этого вечера и того, что не было сказано, и того, что не будет никогда сделано, но уж не так плохо само по себе, вовсе не так плохо. Посидим, потому что человеку нужно порой, чтобы был человек рядом».

Но, может быть, я и не сказал всего этого Эль.

...Мы сидели в кафе, руки наши лежали подле, крутилась пластинка, японская песня была похожа на нашу, какие-то парни спорили, высмеивали друг друга.

Глаза Эль оживали, и я подумал: «Что значит молодость!»

— Послушай, Эль, эту песню, — сказал я. — Если бы я был ее автором, я подарил бы ее тебе. Лет через пять ты завела бы пластинку и вспомнил бы тебе этот день с облаками и ветром. Я не сказал бы — без солнца.

Но Эль отрицательно покачала головой, провела пальцами по моей руке:

— Нет, — проговорила она теперь куда тверже, спокойнее. — Нет. Я не могу без вас, Алексей Федорович.

Не знаю, почему мне стало тогда весело. Я рассмеялся.

— Ты еще ужасный ребенок! — сказал я. — Ужасный. Хорошо, пусть так: пройдет пяток лет, и если встретимся снова и ты повторишь все это... Но такого, Эль, не будет.

...Скоро состоится выпуск моего класса. Подвожу итоги. Как педагог, я спокоен и удовлетворен: не только пройдено и усвоено все, что положено по курсу. Это еще полдела. Думается, мои юные друзья во многом разобрались сами, о многом передумали и история принесет им свою пользу.

...К лету мои подопечные сдадут экзамены — это их последний школьный год; разлетится дружный коллектив, и многих уже никогда не увидишь. Вот этого по-настоящему жаль!

Эль учится отлично. Получит свою золотую! Я спросил ее как-то: «Куда ты думаешь после школы?» Эль посмотрела на меня, подумала. Ее чистые глаза смотрели на меня с упреком.

— Разве вы не знаете?! — проговорила она.

Значит, будет одним историком больше. И этот историк, уверен, не пройдет незамеченным среди других. Эль не из тех, кто легко отступает от намеченного — это ее характерная примета.

Да, Эль не из тех.

«А ее отношение ко мне?» — вдруг задаю я себе вопрос. И удивляюсь такому необоснованному вопросу. Что Эль для меня? Девочка, школьница, к которой, как к дочери, привык я. У меня нет и не было семьи. У меня нет любимой, и нет дочери. Может быть, потому и ощущаю я Эль, как дочь, близкой.

Я знаю, у Эль не все благополучно дома. Я бывал в этом доме: отец пьет, супруги не ладят друг с другом, мать не особо близка дочери. Эль недостает многого, в первую очередь заботы, внимания.

После разговора в парке я много раз думал, не обидел ли я чем-нибудь Эль. Я замечаю, что хорошие женщины — нередко и очень нередко! — несчастливы. И хотя Эль еще девочка, я не хотел бы, вольно или невольно, причинить ей боль.

Но правильно ли то, что я все еще считаю ее девочкой?

Я пристально, возможно незаметнее, приглядываюсь к Эль. Изменилась ли она с того вечера, с того разговора?

Тогда, в понедельник, после встречи, я снова увидел ее — в классе. Казалось, никакой перемены в обычном настроении нельзя было обнаружить. Выглядит хорошо, внимательна, оживлена, остро реагирует на каждую мною брошенную в класс мысль.

Я невольно обрадовался. Вызываю — отвечает блестяще. Материал не только основательно проработан — я улавливаю в его изложении и свое, особое, мнение Эль, и такие детали, которые, несомненно, привнесены ею из самостоятельно прочитанных книг.

— Отлично! — говорю я.

Мне хочется похлопать по плечу за такое прилежание. Я ставлю жирную пятерку с плюсом в журнал, поднимаю глаза и встречаюсь с глазами Эль.

«Да что же это с ней!» — вскрикиваю я про себя, не зная, как разобраться в том, что таится в глубине этих глаз.

Но проходит неделя, другая, и я успокаиваюсь. Кажется, все становится, наконец, на свои места.

И вдруг — снова эти глаза! То — в минуты, когда Эль, вне сомнения, не ожидает, что я смотрю в ее сторону; то — при встрече случайной в коридоре.

Я убежден в правдивости ее слов: «Я не хожу за Вами по пятам, и не слежу, не разузнаю, не преследую...» Верю, что эти глаза, этот взгляд и дошло случайно, неожиданно для нее самой. Но начинаю

опасаться, что глазам Эль теперь всегда присущ этот взгляд. А стало быть, и эти ее мысли и отчаяние.

Порой во мне вспыхивает раздражение, и готовы сорваться с языка незаслуженные слова: «Взбалмошная девчонка!» Но раскаяние тотчас овладевает мною.

11

...Время приближается к экзаменам. Я перестаю замечать взгляды Эль и постепенно убеждаюсь, что Эль утихает. Не увядает. нет. Скорее, обратное: расцветает. Прекрасный цвет лица, черты полны обаяния, движения пластичны, спокойны. И, слава богу, не глядит на меня.

«Мы становимся вновь добрыми друзьями», — думаю я.

12

...Времени для записей не остается. Слишком длинным стал мой рабочий день. Моя диссертация не оставляет мне свободной минуты — тону в изобилии первостепеннейшего материала.

Слава богу, Эль не смотрит больше на меня. Все хорошо. Или, как любит умозаключать Ефим Сергеич: «Утряслось!»

13

...Я давно не касался моей записной книжки. Посмотрел последние записи: «Все хорошо!»

А настроение отвратное. Сам не понимаю, почему? Видимо, устал, перетрутился.

Мне скучно дома. Моя работа лежит. В классе, мне кажется, я не получаю былой полной отдачи. Но, может быть, это только кажется.

14

...Удивительное ощущение какой-то ненужности моей. Безусловно знаю — делаю нужное; работе отдаю все свое время (я вновь усиленно работаю и над диссертацией); меня ценят: говорят, в «наших верхах» заинтересовались моими школьными занятиями;

поговаривают о «моей методике»! Экая глупость! А ощущение ненужности (стыдно сказать — какой-то пустоты жизни) не проходит.

Вечерами чаще заглядывает ко мне Ефим Сергеевич — «на огонек». Все подтрунивает: «Вечный холостяк!..» О, будь он неладен!

15

...Все же изумительная это девочка. Я не раз бывал в ее доме (я уже писал об этом). Если бы я не знал ее отца и мать, я никогда не поверил бы, встретив их случайно, что они родители Эль. Природа удивительный мастер. Каковы пути отбора тех почти фантастических ген, которые создают нового человека? Этого проследить еще не можем. У гениев рождаются посредственности, а потомки душевнобольных становятся гигантами мысли — бывает ведь и такое!

Эль — богатейший материал: духовный мир — ясность мышления, мир чувств, упорство воли. Лицо, сквозь которое словно просвечивает душа. Счастливым будет тот, в чьи руки она попадет. Но будут ли добрыми и умными эти руки?

16

В классе все спокойно. И глаза Эль спокойны. Совершенно спокойно.

17

...Черт возьми! Ловлю себя на мысли, что порою мне нестерпимо хочется вновь побывать у второго фонтана и встретить Эль. Мне кажется, и сказал бы ей теперь... Впрочем, я не сказал бы ей, наверное, ничего нового.

18

...Завершен учебный год. Экзамены прошли блестяще. Выпускной вечер — говорят, такого подъема давно не было. Сколько благодарностей! Сколько добрых слов, пожеланий! Особенно ценных — от детишек. Но детишки-то уже — молодые люди. Миша Плетнев, Нани Вурых, Танечка Рогина, Получерная Вера, Эль!..

Все! Танцевал со всеми — «тащили» меня, и никак нельзя было отказаться. Все плясали, даже Ефим Сергеич отплясывал как юнец!

Мы танцевали и с Эль. Вальсирует легко, и рука, что лежит у меня на плече, легкая, и лицо чудесное.

— Вот мы и танцуем с вами, — говорит она. — Как бы прощаемся.

И смеется.

Но когда я смотрю на нее — я вижу те же глаза. Как тогда в парке.

— Сейчас все кончится, расходятся уже, — говорит она еще и глядит на меня.

Оркестр замирает. Ефим Сергеич подбегает ко мне и шепчет взволнованно:

— Начальство вас просит! Торопитесь... вечный холостяк!

Он исчезает мгновенно, и я тоже шепотом говорю Эль:

«У выхода обожди! Я сейчас!» — И спешу в кабинет нашего шефа.

В дверях я останавливаюсь и не узнаю директорского кабинета: длинный стол, белизна скатерти, избранные лица коллег.

— Садитесь сюда, уважаемый Алексей Федорович! — весело восклицает наш глубокоуважаемый. — Вот здесь! Возле нашей премногоуважаемой Марии Валентиновны.

«Так! Очередной банкет. Кому он нужен?» — думаю я и вижу, как подмигивает Ефим Сергеич.

Я смотрю на шефа, мне хочется крикнуть ему в лицо: «Я должен проводить Эль! Должен! Я не могу присутствовать на банкете!..» Но наш глубокоуважаемый энергично проталкивает меня вперед и усаживает возле нашего премногоуважаемого начальства.

Марья Валентиновна улыбается:

— Положить вам пирожка?

И я механически выдавливаю из себя:

— Благодарю вас!

...Почему не звонит Эль? Она знает номер моего телефона. Я хочу слышать ее голос.

Эль учится в педагогическом институте. Вчера Ефим Сергенч среди прочих «новостей» рассказал мне о том «всеобщем и невообразимом восхищении», с каким говорят об Эль преподаватели института. Так это и должно быть.

20

...Сплошное безумие! Я все жду телефонного звонка. Пора, давно пора, Алексей Федорович, выбросить из головы все эти бессмысленные фантазии!

21

...Я давно не заглядывал в свои записи. Кажется, забыл уже и о том письме, с которым они связаны. Я забыл даже, в каком году получил письмо от Эль, и не нашел его сейчас среди листков моей записной книжки.

Пришлось подсчитать. Оказалось, прошло уже четыре, нет — почти пять лет. Я давно не встречал Эль.

Перечитываю и вспоминаю.

В то время я усиленно работал над диссертацией и еще преподавал в школе. Диссертация защищена два года назад. Теперь каждый день я посещаю уже не школу, а свою alma mater, как блудный сын, возвратившийся в родной дом. Но я — увы! — не студент, а преподаватель.

У меня новые ученики. С большой охотой читаю лекции. Студенты, естественно, не школьники — знаю по себе, по пройденному; и подбор материала, и подача, и умение заинтересовать, увлечь этих молодых людей — все требует иного подхода. Но не могу пожаловаться — ходят и слушают.

Посещаю смежные кафедры и другие вузы, знакомлюсь с постановкой дела, работой коллег других профилей, учусь. Знакомлюсь со студентами других вузов, иногда выступаю с докладами. К сожалению, замечаю, что цвет нашей молодежи преимущественно не на гуманитарных факультетах. Но и здесь, впрочем, есть отличные студенты.

Тема диссертации, над которой я работал так много...

Звонят. Надо открыть дверь.

...Приходил Ефим Сергеич: шел по пути и — на «огонек». Он все тот же. Шумлив, полон новостей, сплетен и энергии. Выпили — угостил, дабы не обиделся, не завел старую песню. О том, что я, мол, теперь «ученый» да еще «со степенью» и перед старыми школьными друзьями «зазнался». Смешны все-таки некоторые наши человеческие особи! Что это — от зависти или опять-таки ирония?!

Я не закончил, о чем начал писать. Ефим Сергеич ушел, и я продолжаю. Тема, которую я в свое время выбрал для диссертации, касалась исследований партизанского движения на Восточном фронте гражданской войны. Лично для меня она звучала иначе. Лиричнее: «Исследования человеческой стойкости и мужества».

Удивительнейшая романтика! Героика, в сопоставлении с которой, кажется порой, блекнут все достойнейшие дела. История государства, возникшего на совершенно новых началах; борьба за его становление; мощь народной, изнутри революционной волны! Мне не хватало ночей на изучение потрясающих деталей, равно суровых и трогательных: в них раскрывалась прекрасная душа человека, попытавшегося и сумевшего, хотя бы на время, сбросить всю мелочность чувств, понятий, условностей.

Конечно, я далеко не удовлетворен сделанным...

Снова звонок... Я не хочу открывать дверь, не хочу видеть, слушать, говорить. Не хочу я и продолжать эти записи, нитью связанные с тем письмом: нить давно ослабла. Собственно говоря, записи сии подлежат уничтожению. Я хочу посидеть тихо. Помечтать! Имеет же человек на это право!

Снова звонят. Черт его знает, кого это несет в такую позднь!

...Я вновь извлек эти записи из захламленного ящика моего рабочего стола: в записной книжке я обнаружил письмо Эль. Как же это не нашел я его в прошлый раз?

Смотрю в зеркало: постарел? Нет, не замечаю. Наоборот, испытываю сейчас наличие куда больших сил и настроение бесподобное.

«Алексей Федорович! Я должна Вам...»

Не смешно ли: так давно сказаны эти слова!

Моего сына зовут Бобом. Стало быть, «вечного холостяка» ныне уже не существует. Теперь вместо него проживает в этой квартире степенный «папаша». Боб зовет его: «Ша». Первые буквы все еще не даются Бобу.

Сейчас ему год и два месяца. Он уже ходит по толстому ковру моего кабинета. Ходит и улыбается. Глядя на него, улыбаюсь и я.

Я ловлю себя на этом. И думаю: «Чудеса творятся в мире! — Я — папаша! У меня — сын!»

Я задвигаю мою старую записную книжку внутрь ящика. За Бобом неотступно ходит мама. Это моя жена.

Неужели все мамы такие опасливые: она не выпускает Боба из орбиты своих рук. Руки разведены, растопырены так, чтобы вовремя успеть подхватить сына, если... он «запнется». Она всегда боится, что он «запнется». Потому что любит... «Жизнь моя без Вас ничтожна, цены не имеет...»

Я отвожу взгляд и вновь вынимаю письмо. Но не читаю. И вижу фонтан, струи которого истощились, и ощущаю на лице ветер.

«Но бывает ли это в жизни?» — думаю я и вновь гляжу на Боба.

Он старательно переставляет ножки: ковер ворсист, и это смущает малыша.

Боб падает. И тут же встает и вновь продолжает осваивать новые пространства: может быть, он станет когда-нибудь землепроходцем?

«И нужно ли человеку тешиться всяческими фантазиями? — спрашиваю я себя: во мне, несомненно, есть это «гнилое наследие», — поиграть с самим собой, поспорить, помучить себя. Даже придумать что-то! — Нет не бывает такое в жизни. Не бывает!»

А мама вновь растопыривает руки: она все боится, что Боб «запнется».

«Не надо бояться, ничего не надо бояться! — думаю я. — Даже того, чего не бывает в жизни».

И говорю:

— Не надо бояться, Эль! Не надо. Пусть Боб сам, пусть сам.

...Я часто играю в эту «игру воображения» и вижу Боба. «Я не могу без Вас, Алексей Федорович...»

Хватит. Игра закончена.

Включаю магнитофон: пристрастился записывать песни разных стран. На досуге, которого всегда слишком мало, люблю их послушать.

Но иные песни приносят раздумья. И сразу история услужливо подбрасывает примеры: Лопе де Вега было пятьдесят три, Марте де Наварес — около двадцати. И как велико было счастье!.. Или...

Никчемные, по существу, раздумья, ненужные примеры.

Моя жизнь по-прежнему течет размеренно: она подобна железнодорожному графику. Я немало раздумываю о педагогике и приступаю к новому труду, в основном — применительно к моему предмету. В педагогике всем нам следует сказать еще многое.

Все у меня хорошо. Иногда заходят бывшие ученики. И, конечно, мои старые школьные друзья. Чаше других — Ефим Сергееч.

Все же он славный человек и всегда полон «новостей»! Вчера он «доложил» мне, что Эль вышла замуж.

Я пожелал ей счастья.

47208



СОДЕРЖАНИЕ

Александр Пак. Разные люди	5
Владимир Черненко. Спасибо, друг!	29
Николай Домовитов. Обелиск в степи	46
Олег Селянкин. Товарищ комиссар.	77
Лев Правдин. На берегу большой реки	95
Геннадий Солодников. Падает снег	130
Виктор Астафьев. Руки жены	140
Иван Байгулов. Дыхание земли	152
Алексей Домнин. Никоновы	177
Клавдия Рождественская. Сестры	190
Александр Снешилов. Яков Степанович	201
Лев Давыдычев. Старик и его самая большая любовь	211
Николай Вагнер. Письмо :	223

ПЕРМСКИЙ РАССКАЗ

Редактор-составитель Н. Н. Вагнер

Художник В. Н. Аверкиев
Художественный редактор М. В. Тарасова
Технический редактор В. Н. Филиппов
Корректоры
С. С. Нестерова, И. Л. Пархомовская

Сдано в набор 13/X 1970 г. Подписано в печать
17/XII 1970 г. Формат бумаги тип. № 2 60×70¹/₁₆.
Печ. л. 15,25; бум. л. 7,625 (усл.-прив. л. 12,2);
уч.-изд. л. 12,913. ЛБ02583. Тираж 15 000 экз.
Цена 64 коп.

Пермское книжное издательство. Пермь, ул. Кар-
ла Маркса, 30. Книжная типография № 2 управле-
ния по печати. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
Зак. 1338.

